**Александр Алексеевич Алексеев**

**Воспоминания артиста императорских театров А.А. Алексеева**

Александр Алексеевич Алексеев, автор нижеследующих воспоминаний, прослужил на императорской петербургской и на провинциальной сценах в общей сложности около пятидесяти трех лет. Разумеется, в этот продолжительный промежуток времени он был свидетелем многого, что может послужить материалом для истории нашего театра. Впрочем, следует оговориться, что Алексеев не имеет в виду изобразить известное положение или значение театра в прямом смысла, он ограничивается лишь деталями, передачей некоторых забытых фактов и событий из закулисной жизни последних пятидесяти лет. Знакомые имена действующих лиц делают эти воспоминания интересными, а их характер, не претендующей на серьезность, придает им анекдотическую занимательность.

Нужно удивляться замечательной памяти Александра Алексеевича, которая, не взирая на его почтенный возраст, сохранилась во всей своей полноте. Рассказывая мне эпизоды из своих воспоминаний, он без особого труда припоминал имена, место действия, года и даже месяцы и числа. Говоря о своих товарищах и сослуживцах, большинство которых давным-давно покинули свет, он так был отчетлив в мелочах, что, казалось, только вчера с ними виделся и вел оживленную беседу: он подражал их тону, манерам.

По словам Алексеева, не особенно давно он собственноручно написал свои воспоминания, однако очень субъективные и небольшие по объему, но они, переходя из рук в руки между московскими знакомыми, затерялись для него окончательно. Поэтому он просит неизвестного обладателя его рукописи считать таковую недействительною и предать ее уничтожение, как вещь, не имеющую в настоящее время никакого значения.

М.В. Шевляков.

**I**

Мое происхождение. — Вторая гимназия. — Первое посещение театра. — Любовь к сцене. — Обман директора гимназии Постольса. — Наказание.

Настоящая моя фамилия Келенин. Родился я в 1822 году в Петербурге, в девятой линии Васильевского острова. Отец мой носил звание личного дворянина и считался состоятельным человеком. По заведенному в те времена порядку приписывать к сословиям или обществам тотчас же по рождении, я был приписан в купцы. Первоначальное воспитание я получил дома, под надзором родителей, а по истечении девяти лет был определен пансионером во вторую С.-Петербугскую гимназию, в которой, однако, курса не кончил, выйдя из шестого класса, к чему побудила непреодолимая страсть к сцене, таившаяся во мне с первого класса гимназии, то есть с первого посещения Большого театра.

Вторая гимназия во время моего пребывания в ней переживала самый лучший свой период, лучший потому, что директором ее тогда был Александр Филиппович Постольс, личность во всех отношениях прекрасная, внушавшая молодому поколению любовь к наукам и строго следившая за нравственными качествами своих питомцев, которые всегда благословляли доброе имя его, сохранив в своей памяти светлые воспоминания о времени пребывания в стенах второй гимназии при Александр Филипповиче.

При поступлении моем в гимназию, отец, желая доставить какое-нибудь удовольствие, взял с собою в Большой театр, в котором тогда давались драматические представления.

Это первое посещение театра было для меня причиной того, что я сделался актером.

Из памяти моей до сих пор не изгладилось впечатление этого спектакля, все мельчайшие подробности так еще живы во мне, что я помню наизусть всю программу его, mis-en-scene и всех исполнителей известного водевиля Ленского «Стряпчий под столом». В особенности же я увлекся игрой незабвенного комика Дюра, исполнявшего главную роль Жовиаля. Этому увлечению я и обязан своей карьерой.

Секретно от отца, выдававшего мне на карманные расходы по одному рублю в неделю, я начал покупать театральные пьесы и разучивать их, разумеется, без всякой системы и без малейшего понятия о манере разучивания, имеющей, как оказалось впоследствии, свои особенности и условности, крайне необходимые и сразу не уловимые. Не умея взяться за дело, как следует, я обыкновенно прибегал к тяжелому приему: выучивал всю пьесу на пролет, не исключая даже женских ролей. Прежде всего, конечно, приобрел я «Стряпчего» и вызубрил его многочисленные куплеты, Которые были так неподражаемы в исполнены Дюра.

Посвящая каждую свободную от классных занятий минуту на бесполезное разучивание водевилей, я, разумеется, становился самым отчаянным учеником и прослыл отъявленным лентяем. По правде сказать, мне было не до ученья: непреодолимая сила тянула меня за кулисы; в пылу увлечения я забывал о своем детском возрасте, а следовательно и о своей непригодности для театра. Я стал держаться особняком от товарищей и своих радужных надежд сделаться актером не открывал никому из них, но, однако, вскоре моя заветная мечта, не смотря на таинственность, которою я облекал ее, каким-то образом получила огласку. Однокашники начали посмеиваться надо мной (тогда еще не было нынешнего поголовного увлечения театральными подмостками), а воспитатель Госсе, прозванный воспитанниками за свой картавый выговор галкой, предпринял уничтожение моих любимых водевилей и пожаловался на меня отцу, который за это страшно на меня разгневался и пригрозил отдачей в кантонисты, если театральную дурь не выкину из головы. Конечно, мне, удрученному безжалостным нашествием на мою библиотеку Галки и угрозой не любившего шутить отца, больше ничего не оставалось делать, как смириться и снова взяться за учебники, которые, однако, не заставили забыть театр: я остался все таким же лентяем, каким был до того.

Отец видел во мне будущего коммерсанта и ни под каким видом не хотел уступить моему влечению. Я уже нашел было некоторые лазейки в императорское театральное училище и объявил отцу, что классического образования мне не нужно, так как по роду моего очевидного призвания мне надлежит перейти в специальное учебное заведение. Мать присоединилась ко мне и тоже долгое время действовала на отца в духе умиротворения, но он был непоколебим и в доказательство своей неприязненности к моим, как выражался он, затеям, перестал брать меня с собою в театр. Впрочем, в этом, кроме неприязненности, было еще предположение заставить меня забыть подмостки и направить мое внимание исключительно на науки. Расчеты были верные, но желаемых результатов не получилось.

Огорченный безаппеляционным решением отца оторвать меня от театра окончательно, я прибегнул однажды к неособенно замысловатой, но для моего возраста преступной хитрости: получив от отца в воскресенье рубль на недельные расходы, я ушел из дому часом раньше обыкновенная в гимназии и явился к директору Постольсу за разрешением возвратиться в стены училища только на другой день утром, прямо к классным занятиям.

— Папаша убедительно просит вас о моем отпуске, — солгал я директору, с твердой уверенностью, что воля отца не встретит, как и прежде, препятствий.

— А ты зачем же нужен ему сегодня вечером? — спросил Александр Филиппович, недолюбливавший несвоевременных отлучек воспитанников из здания гимназии.

— В театр папаша меня берет с собой.

— Ох, уж эти театры! Родители только балуют тебя, и ты ленишься самым отчаянным образом.

Я отправился в театр и купил билет в галерку. В двенадцатом часу кончился спектакль, я вышел на улицу и остановился в горестном раздумье, не зная, куда идти? В гимназии было поздно; начальство удивилось бы моему появлению и спросило бы, почему я не поехал по обыкновению домой. Это навело бы их на подозрение, и мой поступок мог бы обнаружиться во всем своем непривлекательном виде. Домой же показаться я не смел никоим образом, прежде всего поднялся бы такой переполох, так бы перепугались домашние, что не миновать бы крупной неприятности. Оставалось одно — гулять всю ночь по улицам; я так и сделал: вышел на Невский и скитался по проспекту до 7 1/2 часов утра, то есть до тех пор, пока швейцар не раскрыл дверей для приходящих учеников. Явился я в гимназии полузамерзшим, с окоченевшими членами; в это время стояли сильнейшие морозы, а моя шинель, как и все форменные амуниции при императоре Николае Павловиче, была холодная, и ноги, согласно тогдашнему порядку, не были обуты в калоши.

Но, не смотря на такой чувствительный урок и на опасность подобных ночных прогулок, я еще несколько раз посетил Драматический театр. Такова была у меня любовь к сцене.

В конце-концов, разумеется, мои похождения обнаружились и дошли до слуха отца, который просил директора, крайне не Довольного моим поведением, чтобы он наказал меня шестимесячной выдержкой в стенах гимназии. Со своей стороны отец лишил меня на такой же срок «еженедельного рубля».

Выдержав полугодовой арест, возвращаюсь в родительский дом и сталкиваюсь с отцом.

— Ну, что отучили тебя? — было его первым вопросом. — Не будешь больше в театр бегать?

— Нет, буду, — ответил я решительно.

— Ты теперь уже большой! — сказал мне внушительно отец. — У тебя свой ум… Предоставляю тебе полную свободу, но, в качестве человека опытного и, главное, желающего тебе добра, советую свои действия всегда сообразовать с положением… Отныне ни за какие последствия твоего сумасбродства я не отвечаю, всю ответственность ты принимаешь на себя… Поступай, как хочешь, но на меня не пеняй…

— Так, значить, я могу… — радостно воскликнул я, но отец перебил меня:

— Все что угодно и, пожалуйста, без всяких спрашиваний у меня.

**II**

М.В. Самойлова. — Традиция. — Л.В. Дубельт. — Гедеонов. — Театральное училище. — О. Василий. — Л.Л. Леонидов. — Училищный спектакль. — Публичный дебют и служба в Александринском театре.

Слабый протеста отца, вдруг круто изменившего свои воззрения на сцену, как оказалось, был следствием случайного заступничества за меня известной в то время артистки Марш Васильевны Самойловой, родной сестры Василия Васильевича Самойлова, которая в блеске своего таланта покинула сцену, благодаря своему замужеству с купцом Загибениным. Она сказала моему отцу, выслушав его жалобы на меня:

— Уж если у Саши такая страсть, то не следует его удерживать. Никакая сила не поборет страсти: рано ли, поздно ли, а ведь придется вам уступить, и он, все-таки, восторжествует; препятствия же только сильнее разжигают желания… Лучше всего возьмите его из гимназии и присылайте ко мне: я буду с ним заниматься и проходить роли, и все что сама знаю, передам ему…

Это убедило отца в мою пользу. Я вышел из гимназии и стал ежедневно посещать Марью Васильевну, серьезно принявшуюся внушать мне замысловатый театральный премудрости, кажущиеся такими незначительными с первого взгляда, но на самом деле не легко преодолеваемые и имеющие громадное значение к драматическом искусстве.

Современная театральная школа, придерживающаяся исключительно одного натурализма и изгнавшая из учебников окончательно те старинные догматы и символы, о которых нынешние актеры с презрением отзываются, как об отжившей «традиции», — делает величайшую ошибку. Эти традиции создавали нам таланты, их придерживались такие колоссы, как Каратыгин, Мочалов, Мартынов, Самойлов, Щепкин, Садовский, Самарин, Максимов; эти традиции известным образом служили уровнем всей сцены, приподнимали пигмеев до великанов, благодаря чему получался (нынешнему зрителю совсем незнакомый) ансамбль, при условии которого был возможен классический репертуар. В настоящее же время все театры, как столичные, так и провинциальные, пробавляются водевилем, к чему только и применим не понятый современными актерами натурализм. Впрочем, московский Малый театр кое-как еще лавирует между трагедией и водевилем, не отставая от первой и не приставая ко второй; старая традиция там еще по временам оживает и с гордостью смотрит на своего победителя, на балаганного импровизатора, так глупо ее уничтожившего… Не так обидно то, что царствует на сцене наивный водевиль и что сцена заполонена неучами, а то, что все это ягодки тех цветочков, которыми так усердно, с такою искреннею надеждою в хорошее будущее, занимались цивилизаторы и прогрессисты родного театра, безумно любившие его и отдававшиеся ему всей душой. Эти честные деятели оказываются преступниками, убийцами искусства; их не поняли и хорошие идеи их перетолковали безобразно, дико, нелепо…

Первая роль, которую я разучил под руководством Марьи Васильевны, была Жано Вижу из водевиля «Любовное зелье». Я занимался с Самойловой несколько месяцев; она меня основательно подготовила к сцене и, довольная моими успехами, обещала свое ходатайство перед директором императорских театров.

— Я благословляю его, — сказала она как-то при встрече с моим отцом. — Он годен…

То же самое она передала и крестному отцу моему, Леонтию Васильевичу Дубельту, имевшему видное положение в петербургском свете, благодаря занимаемому им месту. Он приехал к нам и сказал:

Марья Васильевна хвалит Сашу и находит его способными я очень рад и обещаюсь его пристроить на здешнюю сцену…

Да ведь он еще совсем мальчишка, — усомнился отец.

— Ничего не значит! Я с Гедеоновым очень дружен: мы ведь с ним однокашники по полку, и он для меня сделает все, что угодно.

Дубельт велел мне явиться к нему на другой день утром для того, чтобы отправиться с ним вмёсте к Гедеонову. Разумеется, радости моей не было конца, и я насилу дождался условленного часа. Прихожу к Леонтию Васильевичу и отправляюсь с ним к Гедеонову, который встретил Дубельта необыкновенно радушно, а меня, после того, как узнал, что я крестник его приятеля, — ласково.

— Я к вам привез актера, — приступил прямо к делу Леонтий Васильевич.

Гедеонов взглянул на меня и спросил:

— Вот этого молодого человека?

— Да.

Я сконфузился и покраснел до ушей.

— Вы не беспокойтесь, Александр Михайлович, — поспешил предупредить Дубельт директора театров, — он не неуч какой-нибудь: его приготовляла Марья Васильевна Самойлова.

— Это хорошо, — согласился Гедеонов и обратился ко мне с вопросом:

— Вы бреетесь?

— Нет еще!

— Ну, так до бороды придется в нашей школе пробыть…

Со следующего дня я считался уже экстерном императорского театрального училища, начальником которого в то время был Дмитрий Яковлевич Федоров. Я поступил в старший драматический класс, находившийся в ведении Петра Андреевича Каратыгина, и пробыл в нем почти год. Театральное училище в то время было настолько узко-специальным учебным заведением, что питомцам своим не давало даже элементарного образования, ограниченного хотя бы уменьем читать и писать по-русски; были случаи, когда окончившие курс в этом училище не умели грамотно подписать своей фамилии, между тем как училище имело своих преподавателей по всем научным предметам, введенным в средне-учебных заведениях. Но самое отвратительное в этом то, что те, в руках коих находились бразды правления училищем и которые так бессердечно относились к своим прямым обязанностям, всегда первые глумились над безграмотным закулисным людом… Относительно образовательного ценза, даваемого театральным училищем, существует крайне характерный анекдот про П. А. Каратыгина, известного остряка и каламбуриста.

Является однажды к нему бедно одетая женщина и убедительно просит его пристроить ее семилетнюю дочь в балетное отделение театрального училища.

— Что побуждаете вас сделать из дочери танцовщицу? — обратился он к ней с вопросом,

— Моя материальная недостаточность.

— Но ведь дочь-танцовщица навряд будет подспорьем вам в старости! Если вы рассчитываете на ее будущую поддержку, то делайте из нее ремесленницу. Это резоннее и вернее.

— Да, но ведь и балет верный кусок хлеба?

— Условный, сударыня, и не вечный. Пока здорова, ноги в порядке, получает гроши, но чуть что — иди по Mиpy, потому что наша школа не дает никакого образования: кроме антраша да батманов, ничего знать не будет…

— Помилуйте, Петр Андреевич, неужели они так-таки ровно ничем в школе не занимаются?

— Занимаются…

— Ну, вот видите…

— Да занимаются-то пустяками: друг другу сказки рассказывают… как, например: «ворона-сорока кашу варила, деток кормила»… а как выйдут из училища…

И Каратыгин докончил детскую прибаутку, окончательно разочаровав просительницу, тотчас же отказавшуюся от мысли поместить свое детище в театральное училище.

Если начальство не заботилось о нашем образовании, зато религиозные чувства оно развивало в нас деятельно и усердно. Нам было строго вменено в обязанность не пропускать ни одной церковной службы, и мы аккуратно посещали нашу домовую церковь накануне праздников и в самые праздники. Нашего священника звали, если не ошибаюсь, о. Василий. Он был строг и взыскателен. Если, бывало, увидит, что мы разговариваем между собой, а в особенности если вступаем в разговор с воспитанницами, сейчас же заставит провинившихся стать на колени и простоять в таком положении всю службу. Разумеется, такая мера наказания нам не нравилась, и мы были очень недовольны своим законоучителем. Однажды кто-то из воспитанников, имевший наибольшее основание не довольствоваться мероприятиями о. Василия, вздумал проделать с ним такую штуку: написал несколько заупокойных поминаний с одним именем «Петр» и подал их старосте через какого-то простолюдина. Тот, не рассмотрев, отправил их со сторожем в алтарь к о. Василию. Когда пришло время поминовения умерших, о. Василий начал смелым голосом, после известных слов «упокой Господи »:

— Петра… Петра… Петра…

И, понизив голос, продолжал смущенно:

— Петра… Петра… Петра…

Взялся за вторую записку и уже с сердцем прочел:

— Петра… Петра… Петра…

Третья записка заключала в себе то же. Это, наконец, вывело его из терпения, он погрозился в нашу сторону и сказал:

— Ваша проделка? На колени все!

Так мы и простояли всю обедню на коленях.

В театральном училище я учился одновременно с А.А. Яблочкиным и Л.Л. Леонидовым, который был режиссером школьной сцены. Ученические спектакли в то время были часты и имели обыкновенно семейный характер, впрочем, иногда посещало их начальство, в том числе и министр императорского двора, князь П.М. Волконский. На моем первом дебюте в школе он тоже присутствовал. Я должен был выступить в водевиле П.С. Федорова, тогда только что начинавшего водевилиста, «Елена, или она замужем». На репетициях и перед спектаклем я был смел, но, узнав перед самым поднятием занавеса, что приехал князь, я оробел и стал просить отсрочить начало на несколько минут; мою просьбу уважили, я оправился и довольно храбро вышел на сцену. Это было первое мое появление на подмостках. По окончании спектакля ко мне подошел начальник школы Федоров и сказал, что мною остался доволен министр. Это ободрило меня, и на втором спектакле я играл уже увереннее, бойчее, что не осталось незамеченным нашим многочисленным начальством. Второй спектакль состоял из водевиля Ленского «Честный вор», в котором играл я вместе с Яблочкиным. Упоминаю об этом потому, что в живых из той отдаленной эпохи только и остались мы с ним…

1-го апреля 1839 года я выпущен из школы с званием артиста императорских театров на 300-рублевый (ассигнациями) годовой оклад. Первый публичный дебют состоялся через неделю в Александринском театре, в пьесе «Хороша и дурна, и глупа, и умна», роли которой распределены были так: я играл Падчерицына, Григорьев — отца, Бормотова (впоследствии Громова)— мать, Асенкова — дочь, А.М. Максимов — жениха Алинского. Свой входный куплет: «здравствуй, кум, ты, мой любезный», по требованию публики, я должен был повторить; такой прием меня ободрил, и я продебютировал без робости и страха, присущей всякому новичку, в особенности новичку-актеру. Кстати следует заметить, что в то достопамятное время зрители не знали слова «bis»: требуя от исполнителя повторения, они кричали «фора».

**III**

Наша школьная любовь. — Встреча с директором театров А.М. Гедеоновым. — Трубная. — Гедеонов, как начальник и человек. — Актер Калинин и Радин.

В театральном училище во все времена была развита «любовь». Каждый воспитаннику также как и воспитанница, имели свои «предметы», боготворимые и обожаемые ими. Не смотря на всю строгость училищного начальства, неусыпно следившего за чистотою наших нравов, и на то, что женские и мужские классы были искусно изолированы друг от друга, мы, однако, поддерживали различными хитроумными способами общение и не могли особенно жаловаться на редкость свиданий. Во-первых, мы могли видеть друг друга в окна, хотя окна мужских дортуаров не были vis-a-vis с окнами женских, а приходились под ними, так что воспитанники, разговаривая с воспитанницами, должны были лежать на подоконнике вниз спиной; во-вторых, тайно, под страхом ответственности, сходились на черной лестнице, откуда, однако, нас немилосердно изгонял всякий, кому нужно и не нужно, начиная с Федорова и кончая кухонным мужиком, понимавшим отлично всю противозаконность наших свиданий и тешившимся нашею трусливостью; в-третьих, мы виделись в церкви, хотя опять-таки за нами тут был зоркий надзор и нашу группу воспитанников от группы воспитанниц отделял учебный ареопаг, с олимпийским величием взиравший на молодежь, таявшую под влюбленными взглядами своих «предметов». Разумеется, это положение не из завидных, но мы, покорные судьбе, были довольны и им: в продолжение почти двух часов беспрерывно могли мы любоваться друг другом, изредка приветливо улыбнуться, многозначительно кивнуть головой и иногда даже обменяться записками, преисполненными ласковыми подкупающими фразами, уверениями, клятвами. И во всем этом было так много жизни, так много поэзии…

Школьная любовь не всегда была буквально «школьною», очень часто она имела серьезные последствия; многие по выходе из училища оставались верными своему первому увлеченно и вступали в супружество.

У меня и у Леонидова, с которым я близко сошелся на школьной скамье и продолжал быть дружным все время нашего совместного служения на казенной сцене, было тоже по любовному предмету. Я обожал Евгению Скильзевскую, а он Горину, из балетного отделения. Когда мы с ним поступили на сцену и покинули училищные стены, они еще продолжали учиться и, следовательно, были для нас запретным плодом гораздо в большей степени, чем прежде, когда жили под одной кровлей. Наше общение с ними стало ограничиваться перепискою, крайне затруднительною и только разжигавшею в нас сильные порывы любви.

Однажды в ответном своем послании наши дамы просили нас доставить им сладостей, но не конфет, а что-нибудь в виде сладких пирожков. Желая как можно скорее удовлетворить прихоти Гориной и Скильзевской, мы в тот же день купили громадный сливочный торт и поехали в Театральную улицу. Не смея войти в училище, мы остановились на противоположной стороне улицы (где теперь консерватория) и обратили наши взоры на верхние этажи, из окон которых выглядывали воспитанницы, обыкновенно рассматривавшие своих многочисленных поклонников, устраивавших в определенное время дня свои терпеливые прогулки под заветными окнами театральной школы. Вскоре показались наши пассии, и у нас начался оживленный разговор по собственному телеграфу, в котором наибольшее участие принимали глаза, руки и голова.

В то время, как мы просили выслать к нам, на улицу, служанку для приема от нас пирога, из училищного подъезда вышел, незамеченный нами, директор театров А.М. Гедеонов. Он несколько минут наблюдал наши мимические переговоры и, наконец, сердитым голосом крикнул:

— Подойдите-ка сюда!

Мы взглянули в сторону крикнувшего и обомлели. Гедеонов повторил приглашение.

Сконфуженные и смущенные, мы перебежали через дорогу.

— Вы это чем же изволите заниматься на улице?

— Ваше превосходительство… — начал было что-то в оправдание свое Леонидов, но Александр Михайлович его раздраженно перебил:

— Ничего нового вы мне не скажете! Отвечайте на вопросы… Вы кто такие?

— Артисты императорского театра!

— Артисты императорского театра? — с ужасом воскликнул Гедеонов. — И вам не стыдно устраивать балаганные представления на улице? Не стыдно своим людям подавать примеры посторонним повесничать перед окнами глупых девчонок? Ведь вы уже не школьники, пора вам действовать сообразно с вашим положением!..

Прочтя нам это наставление, директор театров насупил брови и отчетливо произнес, грозя в такт указательным пальцем:

— Если вы еще раз когда-нибудь вздумаете остановиться хоть на один миг на этой улице, то из артистов я превращу вас в солдат! Слышите?

И, не дожидаясь нашего ответа, крикнул:

— Вон отсюда, негодные школьники!..

Вся эта сцена произошла потому, что мы попались ему в минуты гнева. В другое время Александр Михайлович ограничился бы только легкой укоризной самого безобидного свойства, и сам бы первый рассмеялся нашей затее, но, будучи в нехорошем расположены духа, он в состоянии был подвергнуть нас строжайшим взысканиям и посадить под арест в знаменитую трубную. «Трубною» называлась одна из комнат театральных сторожей, лишенная какой бы то ни было обстановки и имевшая значение арестантской. В ней только и была одна большая скамейка, так что арестованный должен был или сам отправляться к себе домой за подушкой и одеялом, или посылать за этим сторожа. Арест обыкновенно бывал суточный, но за особенно большие проступки провинившихся сажали на два-три и более дня.

Этой «трубной», кажется, никто из драматической труппы не избегнул: уединялись в ней и Самойлов, и Мартынову и Максимову и Сосницкий, и в особенности Прохоров о котором речь впереди. Сажали и за незнание роли, и за пьянство, и за неуважение начальства, словом за все, за что теперь подвергают штрафам. Каждому арестованному, по положению, отпускалось 15 копеек суточных на харчи. Первый раз я попал в «трубную» за водевильный куплет, слова которого я перепутал на спектакле, но так, что не всякий из публики понял мой промах…

Характеризуя Александра Михайловича Гедеонова, нельзя не помянуть его добрым словом. Это был прекрасный человек во всех отношениях. Отзывчивый, бесконечно добрый, всегда готовый помочь ближнему, в особенности своему подчиненному, он снискал себе всеобщую любовь и уважение. Будучи, как говорится, «в духе», он выслушает каждого, войдет в его положение, вместе плакать будет, но избави Бог попасться ему в минуты гнева. Разнесет ни за что, никакие убеждения, просьбы не тронут его расходившегося сердца. Его злость обыкновенно выражалась в беспрерывном свисте и ажитированной беготне по кабинету из угла в угол, с заложенными за спину руками.

Бывало, приходит к нему проситель и первым долгом осведомляется у курьера, никогда не покидавшего прихожей директора:

— Свистит?

И, смотря по состоянию духа Александра Михайловича, получался ответ:

— Посвистывает! Или:

В усмирении чувств!

В первом случай поворачивай оглобли назад, если не хочешь наверное потерпеть фиаско, во втором — смело иди в кабинеты все угодное тебе, разумеется, в пределах возможного будет исполнено.

Справляться у курьера о расположены духа Гедеонова было на столько необходимо, что малейшая неосторожность в этом направлены могла иметь весьма печальный последствия. Приведу пример.

В драматической труппе было два актера, имевших некоторое физическое сходство между собой, Калинин и Радин (отец известной балетной артистки). Первый— пьяница, буян, почти не выходивший из «трубной», второй — тихий, безропотный служака, никогда не подвергавшейся никаким взысканиям. Радин, как-то гримируясь в одной уборной с П.Г. Григорьевыми пожаловался последнему на свое неприглядное положение.

— Семья большая, — сказал он: — а получка ничтожная. Вот уж двадцать лет служу, а мне ни прибавки к жалованью, ни бенефиса… Все другие кое-как поправились, а я все в беспомощном положении. На меня, на несчастного, никакого внимания со стороны начальства…

— А ты хлопотал ли когда-нибудь о прибавке или бенефисе?— спросил его Петр Григорьевич.

— Никогда!

— Ну, так чего же ты канючишь? Под лежачий камень вода не течет… Разве что-нибудь без хлопот и просьб у нас дается? Непременно нужно самому стараться…

— Конфузлив я очень, да и не умею как-то с генералами разговаривать…

— Вздор! Иди завтра же к Гедеонову и проси себе за двадцатилетнюю службу бенефиса: головой ручаюсь, что не откажет, если только ты сумеешь обрисовать ему свои стесненные обстоятельства…

— Советы-то давать легко, а вот поди-ка сам с просьбой к нему, сунься, так и узнаешь, где раки зимуют…

— Экий ты глупый человек! Неужели же все блага земные к нам сами с неба сваливаются?

— Сами не сами, но только у вас идет все это как-то так ловко, точно по заведенному порядку… Уж сколько раз порывался я идти к Александру Михайловичу, но дойду до его прихожей и вернусь обратно, духу не хватало переступить его порога…

— Стыдно быть таким трусом!

— Все боялся я, как бы не попасть к нему в минуту гнева, да вместо бенефиса не получить бы отставку.

— Без всяких глупых рассуждений отправляйся завтра же к нему и не выходи до тех пор из его кабинета, пока не получишь бенефиса.

— Пойду, но если что приключится, на твою душу ляжет грех…

На другой день, действительно, Радин отправляется к Гедеонову, но забывает спросить у курьера, «свистит, или не свистит».

После доклада его провели в кабинет Александра Михайловича, бывшего в этот день, как нарочно, в самом злейшем настроении.

— Тебе чего? — грубым голосом спросил он Радина, не переставая шагать из угла в угол.

— Виноват, ваше превосходительство, быть может, я не во время, то…

— Не во время?— передразнил его Гедеонов и начал кричать на него. — Да когда же ты ко мне приходил во время? Ты только пьянствуешь во время, безобразничаешь во время… Ну, взгляни ты на себя, на кого ты похож! Взгляни ты на свою физиономию, какой восхитительный вид она у тебя имеет! Стыд, срам, а еще на сцене императорского театра выступаешь… Зачем ты ко мне явился? Что тебе от меня надо?

Смущенный Радин, вместо оправданий и разъяснения очевидного недоразумения, начал излагать свою просьбу:

— Служу двадцать лет… верой и правдой… ни прибавки, ни бенефиса… Обременен большим семейством… источник доходов единственный… Это побудило меня обеспокоить ваше превосходительство и просить бенефиса…

— Что-о? — вскрикнул Гедеонов. — Тебе? Бенефиса? Да ты с ума сошел? Ах, ты, пьяница! Вон!

Ни жив, ни мертв, выскочил из директорского кабинета Радин и со слезами на глазах стал спускаться по лестнице к выходу. На одной из площадок сталкивается с ним начальник репертуарной части Александр Львович Невахович.

— Что с вами, Радин?

Радин рассказал ему всю историю в последовательном порядке и закончил ее словами:

— Все время называл меня пьяницей, ругал и, наконец, чуть не в шею выгнал…

— Это недоразумение! Пойдемте опять к нему, сейчас же все это выясним…

Невахович направился в кабинет директора, а Радин остался в приемной ожидать результата объяснения Александра Львовича с Гедеоновым.

— Ваше превосходительство, чем провинился пред вами Радин? Я сейчас встретил его на лестнице: идет, несчастный, и заливается слезами.

— Какой Радин? У меня сейчас был этот пьянчуга Калинин?

— Нет, Радин!… Ничего не пьющий Радин…

— Калинин, я вам говорю…

— Радин! Если желаете, я сейчас его приведу сюда; он дожидается меня в приемной.

— Что же ему от меня нужно?

— Он приходил просить у вас бенефиса за свою двадцатилетнюю службу.

— В самом деле не Калинин?

— Нет.

— Ну, дайте ему бенефис!

**IV**

Режиссер Александринского театра Н.И. Куликов. — Его секретарь Пономарев. — Наше совместное житье. — Трактир Феникс. — Столкновение в Фениксе Куликова с Сушковым. — Приезд к нам Д.Т. Ленского. — Знакомство с Н.А. Некрасовым — Его стесненные обстоятельства. — Закладывание им своих стихотворений. — Его первая пьеса.

При поступлении моем на сцену, режиссером Александринского театра был известный водевилист Николай Иванович Куликов[[1]](http://lib.ololo.cc/b/193622/read" \l "n_1" \o "   Умерший в Петербурге весною 1890г. в преклонном возрасте.   ), автор «Вороны в павлиньих перьях» и многих других пьес. Его отношения к делу не отличались усердием, а ограничивались одною формальностью. Он как-то так умел устраиваться, что за него все делали другие. Впрочем, благодаря всему этому, он не долго продержался в звании режиссера; свое положение он должен был уступить другому и остаться в труппе простым актером. Но и актером он пробыл непродолжительное время: вышел в отставку и отдался литературным занятиям.

Свои водевили он писал замечательным образом. У него при себе всегда имелась тетрадочка, в которую при всяком удобном и неудобном случае он вписывал карандашом явление за явлением, куплет за куплетом. На репетиции, на спектакле, в трактире, в гостях — всюду он занимался сочинительством. Такая неразборчивость времени и места давала ему возможность стряпать пьесы, как блины, и прославиться плодовитейшим драматургом. И, все-таки, не смотря на такой способ почти механического сочинительства, его водевили были не без достоинств и многие удержались в репертуаре до сего времени.

При таких усердных литературных занятиях, он, разумеется, не имел возможности отдаваться всем мелочам своих режиссерских обязанностей, таким мелочам, на которых зиждется весь успех режиссерского дарования, а окружил себя доверенными людьми, которые в сущности и низвели его с начальнического поста своими нелепыми и неуместными распоряжениями. Некоторые же шли дальше и эксплуатировали его самым грубым образом. Так, например, Николай Иванович имел у себя личного секретаря, некоего Пономарева, обязанности которого сосредоточивались главным образом на составлении всевозможных «объяснений и требований» из театральной конторы необходимых для бутафории вещей. Так как эти бумаги не заключали в себе ничего серьезного, то Куликов подписывал их не читая, а то и просто расписывался на чистых листах. Бывало, подаст ему утром Пономарев несколько бланков, на которых вверху было четко выведено «в контору императорских театров», и Куликов украсит их своим автографом, вскользь осведомясь:

— Сегодня что?

— То-то и то-то, Николай Иванович.

— Ну, хорошо!

Потом уже Пономарев вписывал требования и предъявлял их по месту назначения.

Однажды, при получении жалованья, Куликов был пренеприятно изумлен: из его месячного оклада вычитают сто рублей и взамен их предъявляют ему на такую же сумму расписку, будто бы выданную им на имя какого-то еврея-ростовщика. Подпись расписки, к своему удивлению, Николай Иванович признал за свою и на неожиданный вычет претендовать, конечно, не стал. По расследовании, что же оказалось? Пономарев на одном из бланков, подписанных Куликовым, вместо требования написал заемную расписку и продал ее за дешевую цену еврею, который и не замедлил получить из конторы свой мнимый долг с режиссера. Разумеется, за эту проделку Пономарев лишился своего необременительного места секретаря при Куликове, но судебному преследованию не подвергся, благодаря доброму сердцу Николая Ивановича. С тех пор Куликов, проученный горьким опытом, все бумаги, исходившие от него, внимательно перечитывал и на чистых бланках не расписывался.

Вскоре по выходе из театрального училища, я покинул родительский кров, за дальностью расстояния его от театра, и поселился вместе с Николаем Ивановичем, квартировавшим очень близко к месту служения. Наша совместная жизнь особенно памятна мне, благодаря вечной безалаберности, царившей в нашем холостом помещении. Наши комнаты, заваленный всевозможным хламом, не знали ни уборки, ни мытья и даже не видели свету Божьего — окна были чем-то загрязнены так, что в квартире царил постоянный полумрак. Хотя у нас был слуга, но от него путного мы ничего не видели: он даже способствовал запущенно нашего обиталища. Всегда ленивый, грязный, неряшливый, на все наши требования и приказания он глубокомысленно отвечал:

— Чего прибираться-то? Коли бы это на веки вечные, — еще так, я понимаю, а то все мы смертны; на долго ли прибираться-то нам: сегодня жив, а завтра, глядь, померши… Вот и погибли все труды твои…

По обыкновению, на лакейскую аргументацию мы махали рукой и продолжали обрастать грязью в прежнем добродушии.

По невозможности иметь дома стол, мы обедали в трактире «Феникс», помешавшемся против Александринского театра, почти рядом с подъездом дирекции[[2]](http://lib.ololo.cc/b/193622/read" \l "n_2" \o "   На той стороне, где Аничкин дворец, в самом углу.   ). Там же мы пили и утренний чай. В то время трактир этот процветал, что называется, «во всю»: контингент посетителей его состоял почти исключительно из актеров и театралов. Это было нечто в роде артистического клуба. Между прочими, усердно посещал «Феникс» некий Сушков, безумно влюбленный в Асенкову и недолюбливавший по недоразумению Куликова. Сушков подозревал Николая Ивановича в закулисных интригах против его предмета, на самом же деле над самим Куликовым тяготело высшее давление в лице одного высокопоставленного лица, имевшего неоспоримые права на Асенкову. Сушков, ничего этого не знавший, питал к Николаю Ивановичу глубокую неприязнь и старался всюду досадить ему елико возможно. Прежде всего он шикал Куликову, когда тот появлялся на сцене актером: это, разумеется, больше всего задевало за живое остроумного водевилиста, и между ними произошел однажды такой крупный разговор в «Фениксе».

— Это вы мне шикаете? — задорно спросил Николай Иванович проходившего мимо него Сушкова.

— Я! — признался тот.

— А какое право имеете вы на это?

— Не ваше дело!

— Как не мое дело? Шиканье-то ведь адресуется ко мне?

— К вам!

— Имейте в виду, что я буду просить директора, чтобы он прекратил вам доступ в театр.

— С маслом вы ничего не хотите выкусить? — грубо ответил Сушков.

— И будьте уверены, — продолжал Куликов, не обращая внимания на дерзкое замечание собеседника: — что директор избавить нас от такого лицеприязненного зрителя.

— Никогда!

— Ну, так знайте, если только вы когда-нибудь мне еще раз шикнете, то я так свисну, что своих не узнаете.

Во время моего сожительства с Куликовым, приезжал погостить в Петербурга московский актер и знаменитый остряк Дмитрий Тимофеевич Ленский. Будучи большим приятелем Николая Ивановича, он остановился у нас. В безалаберной нашей квартире мы только и могли предложить ему диван, переночевав на котором он сказал:

— Теперь я знаю, как актеры проваливаются!..

Наша необычайная жизнь поразила его страшно. С первого же утра он наталкивался на любопытные картинки нашего вседневного существования. Он обошел всю квартиру, разыскивая рукомойник, но такого не обрел нигде.

— Как же у вас помыться? — спросил он Куликова.

— Над ведром, — спокойно ответил тот.

Ленский отправился в кухню.

— Дай помыться?— сказал он лакею.

— Рано еще, — равнодушно ответил лакей.

— Почему рано?

— Воды еще нет.

— Как нет?

— Да так, дворник еще не привозил.

Куликов крикнул дворнику в окно:

— Что же ты, каналья, нам воды не даешь?

Тот принес. Ленский приготовился мыться, засучил рукава и стал искать мыло.

— Ты чего высматриваешь?— спросил Куликов.

— Мыло.

— Ну, уж этого у нас нет.

— Да как же вы без него обходитесь?

— Точно так, как и ты сейчас обойдешься.

Кое-как поплескался Ленский и попросил полотенца.

— Ну, брат, не взыщи! — ничуть не конфузясь, сказал Куликов. — И этого у нас нет…

— Полотенца нет? — в ужасе воскликнул Ленский. — Что же вы за люди, скажи мне, пожалуйста?

— Было у нас их несколько, да вот месяца три как загрязнились… теперь о разное белье утираемся…

Дмитрий Тимофеевич с брезгливостью заменил полотенце ночною сорочкой и недовольно проворчал:

— Нет, уж лучше я в гостиницу перееду!

Однако в гостиницу он не перебрался, но нашу домашнюю утварь пополнил полотенцами, мылом и умывальным тазом.

С Николаем Алексеевичем Некрасовым я познакомился в «Фениксе». Тогда еще был он непризнанным поэтом и только что пробовал свои силы в драматургии. Он исправно посещал «Феникс» и заводил дружбу с актерами, которые так или иначе могли содействовать его поползновениям сделаться присяжным закройщиком пьес при Александринском театре.

В то время Некрасов материально был крайне стеснен и нуждался чуть не в куске хлеба. Я с ним сблизился, и прожили мы с ним неразлучными друзьями несколько месяцев. Он часто оставался у нас ночевать, и мы укладывали его, как и Ленского, на наш полуразрушенный диван, который он прозвал шутя «гробом». Не умея по молодости лет рассчитывать деньги, я и сам оказывался часто в стесненных обстоятельствах, на столько стесненных, что приходилось отказывать себе в трактирном обеде и довольствоваться каким-нибудь грошовым сухоядением. Хотя в «Фениксе» всем нам и был открыт кредит, но я оказывался постоянным должником сверх положенной цифры. Памятный до сих пор буфетчик Ермолай Иванович, при всей своей любезности и услужливости, должен был в дальнейшем кредите мне, как и многим другим, в том числе и Некрасову, отказывать.

Однажды, в одну из безденежных минут жизни, является ко мне Некрасов и говорит:

— Есть у тебя на обед деньги?

— Нет!.

— А с «Фениксом» не расплатился?

— Отдал частицу в последнюю получку, но опять с излишком наверстал ее.

— А ведь пообедать-то нужно.

— Да, не мешает…

— Знаешь что? Отправимся-ка к Ермолаю Ивановичу и убедим его в нашей честности…

— Ну, его к черту! Заскулит… кусок в глотку не полезет…

— В таком случае мы можем устроить наш обед на более благородных основаниях.

— На каких это?

— У меня с собой есть книжка со стихами, я заложу ее…

— Не примет…

— Что? Буфетчик такого просвещенного заведения, как «Феникс», не примет в залог стихов? Этого не может быть! Головой своей ручаюсь…

— Попробуй!

Приходим в трактир.

— Вот, Ермолай Иванович, — начал Некрасов, отведя в сторону буфетчика, — у меня есть книжка собственных стихотворений… видите, какая толстая?.. Не возьмете ли ее на время к себе… может быть, поинтересуетесь почитать?..

— Некогда нам читать-то…

— Ну, так пусть бы полежала у вас… на днях я получу деньги и возьму ее…

— Ах, вам в долг чего-нибудь надо? — догадался Ермолай Иванович и решительно произнес: — никак нельзя-с, за вами и то уже очень много считается…

— Вовсе не в долг, а под залог, так сказать… эта книга очень дорогая…

— Я в книгах не понимаю-с и сказать ничего не могу, но если она точно дорогая, то посоветую вам продать ее…

— Ах, Господи! Да на это нужно большое время!

— Что делать-с, а я не могу-с!..

— Так-таки решительно отказываете?

— Совершенно.

Операция не удалась. Мы уселись с ним за свободный стол и стали выжидать какого-нибудь щедрого знакомого, который угостил бы нас обедом. Такое выжиданье во время оно повторялось нами неоднократно и в большинстве удавалось, как нельзя лучше.

Первая пьеса Николая Алексеевича называлась «Шила в мешке не утаишь, девушку под замком не удержишь». Написал он ее в несколько дней у нас на квартире, по переписке я был его усердным помощником. У нас дело шло быстро: он писал, я переписывал за тем же столом набело. Кажется, до сего времени в библиотеке императорских петербургских театров эта пьеса сохраняется в том самом виде, в каком она тогда представлена была в дирекцию, т.е. написанная моею рукою.

С отъездом моим в провинцию, знакомство с Некрасовым прекратилось и уже не возобновлялось вовсе по приезде моем обратно в Петербург. Время было другое, Некрасов был редактором «Современника»; он стал славен, богат и недоступен. От товарищей я узнал, что от старых знакомых он отрекся окончательно, и начало сороковых годов им забыто положительно. Это произвело на меня впечатление, и я не стал искать встречи со своим старым приятелем, которого судьба так вознесла и возвеличила…

**V**

Посещение театра императором Николаем Павловичем. — Его излюбленная пьеса «Ложа первого яруса». — Государь упрекает Мартынова. — Анекдотические воспоминания о П.Г. Григорьеве, П.И. Григорьеве, П.И. Толченове, О.О. Прохорове, Фалле. — Автор «Ремонтеров».

Император Николай Павлович был записным театралом; он охотно посещал оперу, балет, но особенною его любовью пользовалась драма вообще и водевили преимущественно. Водевилистов Каратыгина, Григорьева, Федорова, он всегда поощрял как милостивыми похвалами, так и драгоценными подарками. Бывало, при встрече на сцене с Григорьевым или Каратыгиным, Николай Павлович говорил:

— Ну, что, пишешь что-нибудь новенькое?

И, когда следовал отрицательный ответ, то прибавлял, шутя:

— Уж не лениться ли вздумал? Смотри ты у меня! Я лентяям не потворствую… С завтрашнего же дня принимайся за дело!

— Слушаю, ваше величество!

— Ну, то-то!

Оригинальные пьесы государю нравились более переводных или переделанных: об этом я заключаю из одного разговора его с Петром Андреевичем Каратыгиным.

— Спасибо, Каратыгин, за водевиль! — сказал император после представления, если не ошибаюсь, «Булочной». Развеселил ты меня сегодня!… Эта вещь твоя, или с французского?

— Оригинальная, ваше величество.

— Оригинальная? Ну, полное тебе спасибо! А за переводы я только полу-благодарю…

Николай Павлович в большинстве случаев сидел в боковой литерной ложе, имевшей непосредственное сообщение со сценой, на которую почти каждый антракт он выходил и лично передавал исполнителям свои впечатления. Больше всех государь удостаивал своими разговорами Веру Васильевну Самойлову, братьев Каратыгиных, П.И. Григорьева, В.В. Самойлова, А.М. Максимова и А.Е. Мартынова. Двух последних Николай Павлович очень любил и относился к ним покровительственно. Высоко ценя их выдающаяся дарования, государь прощал им пагубные слабости, вследствие которых происходило небрежное с их стороны отношение к делу. В особенности Мартынов был невоздержен при употреблении спиртных напитков. Случалось много раз так, что в присутствии императора Александр Евстафьевич был почти не в силах выйти на сцену. Его отрезвляли искусственным образом: холодными компрессами, нашатырным спиртом, крепким чаем, но все это не могло же окончательно его отрезвить, и он появлялся перед зрителями заметно в возбужденном состояния. В конце концов водка и уложила в гроб этого гениального комика, хорошего человека и лучшего из товарищей.

Почти постоянно Николая Павловича сопровождал в театр великий князь Михаил Павлович, знаменитый остряк и каламбурист, с которым не раз состязался другой знаменитый остряк, П.A. Каратыгин. Император любил слушать их остроумную беседу и от души хохотал при удачных остротах того или другого, причем и сам не отставал от них в находчивости и остроумных замечаниях.

Излюбленной пьесой государя одно время был водевиль Каратыгина «Ложа первого яруса», который пришелся по вкусу петербургским зрителям и выдержал бесчисленное количество представлений. Особенное внимание обращал на себя П.Г. Григорьев, изображавший в этом водевиле купца и говоривший каждый раз что-нибудь новое на злобу дня. Эти нецензурованные вставки делались остроумным Григорьевым с личного разрешения Николая Павловича. Чуть не на каждом представлении водевиля присутствовав государь и, со свойственным ему увлечением, следил за ходом действия этой забавной и непритязательной вещицы. Много раз «Ложа» назначалась по желанию императора, когда он думал посетить театр, или просто заменяла собою другой какой либо водевиль, если Николай Павлович бывал в театре неожиданно.

В последнем случае, во время спектакля из театра рассылались во все концы города сторожа для сбора действующих лиц в водевиле. Григорьева вместе с актером Воротниковым, игравшим в «Ложе» немца, всегда находили в трактире «Ерши», существовавшем на Разъезжей улице, в том самом трактире, который так художественно обрисован в романе В. Крестовского «Петербургские трущобы». Они обыкновенно бывали на взводе и приезжали в театр несколько навеселе, что, впрочем, не мешало им с неподражаемым юмором передавать свои типические роли.

Несколько импровизаций Григорьева в «Ложе первого яруса» я помню. Обыкновенно он вел диалог с ливрейным лакеем, который по ходу пьесы стоял около него в толпе, осаждавшей театральную кассу (сцена представляла театральный подъезд с характерной вереницей публики, добывающий чуть не с бою билеты на представления приезжей балетной знаменитости).

— Если тут билетов нет, — говорил однажды Григорьев, накануне назначенной лекции Н.И. Греча о русском языке, — то поеду во вторую гимназию.

— Зачем же? — любопытствует ливрейный лакей.

— Там чудны дела творятся! — со вздохом отвечает Григорьев-купец.

— Какие же?

— Немец русским язык показывает!

В другой раз Григорьев говорил:

— Если билетов тут нет, поеду в Александринский театр.

— А там что же идет сегодня?

— Очень любопытная комедия Булгарина…

— А как она прозывается?

— Шкуна Нюкарлеби.

— Это что же?

— Судно.

— Да дело-то в чем?

— Экий ты несообразный человек: уж если про судно речь, так значит в судне дело.

Потом как-то Григорьев вышел на сцену с большою медалью на шее.

Ливрейный лакей, по предварительному условию, спрашивает его, указывая на знак отличия.

— Это у вас что?

— Не образование! Не видишь что ли!— медаль!

— За что же она у вас?

— После пожара из Зимнего дворца мусор вывозил.

Однако, эта шутка даром не прошла Григорьеву. Государь приказал посадить его на три дня под арест.

Николай Павлович провинившихся своих любимцев журил самолично, не прибегая ни к каким наказаниям через начальство. Мартынова и Максимова он часто укорял за пристрастие к спиртным напиткам и отечески увещевал их беречь себя для искусства, которое находило в Николае Павловиче знатока и покровителя. Оба они всегда обещали исправиться, и никогда, разумеется, не исправлялись. Помню, как однажды государь встретил на сцене пошатывавшегося слегка Мартынова, который, завидя его, хотел скрыться незамеченным в уборных.

— Мартынов! — окликнул его Николай Павлович.

Александр Евстафьевич приободрился и браво подошел к императору.

— Пьян?

— Так-точно, ваше величество.

— А помнишь, ты обещал мне исправиться?

— Я-то помню, ваше величество, да враг-то мой не помнит.

— А ты от врагов-то подальше бы!

— Этого-то никак нельзя, ваше величество.

— Почему? — удивился государь.

— Да потому, что в одно и то же время они и друзья мои

— Эх, Мартынов, Мартынов! Что мне делать с тобой?

— Простите, ваше величество, но с таким дураком, как я, другой бы на вашем месте и разговаривать не стал…

Государь рассмеялся и отошел от неукротимого комика.

Говоря о сороковых годах, нельзя не привести нескольких курьезов из жизни товарищей и сослуживцев, давно умерших и давно забытых.

Петр Иванович Григорьев и Петр Григорьевич Григорьев, служившие в одно время на сцене Александринского театра, ничего не имели между собой общего, родственного, хотя театралы почему-то и называли их братьями. На театральных афишах эти однофамильцы проставлялись Петр Иванович— первым, а Петр Григорьевич — вторым. Жили они в одном доме, но в разных квартирах, на Разъезжей улице, недалеко от Пяти Углов. Однажды одного из них разыскивал какой-то субъект. Подходит к их дому и обращается к дворнику с вопросом

— Здесь живет Григорьев?

— Здесь, но вам которого нужно?

— Который служит в Александринском театре?

— Оба служат в Александринском театре.

— Он еще недавно из театральной школы вышел?

— Оба они вышли, кажись, недавно…

— Ну, того, который на днях женился?

— Оба они в одно время поженились…

Субъект уже стал сердиться и раздраженно сказал:

— Его Петром зовут?

— Оба Петры!…

— Ах, чтоб их!.. Веди меня к тому и другому, буду по лицу узнавать…

Петр Григорьевич был записным карточным игроком и частенько засиживался за зеленым полем до полдня. Опоздав таким образом на репетицию, он всегда присылал к режиссеру Куликову лаконическую записку: «На репетиции быть не могу, выдергиваю зуб». Когда у Николая Ивановича накопилось таких записок до 50, он собрал их в пачку и, выждав удобный случай, при всей труппе сказал Григорьеву:

— Петр Григорьевич, много ли у человека во рту зубов?

— А я почем знаю, — ответил спокойно Григорьев: — я не анатом…

— Однако, может быть, слышали?

— Слышать-то слышал: штук тридцать, говорят…

— А вот и неправда, — перебил его Куликов, — больше: вот у меня ваши записки — по ним вы уж полсотни у себя зубов повыдергали, да еще у вас полный рот остался…

— Ничего нет удивительного, — без смущения ответил Григорьев. — Я вместо выдернутых-то всегда новые вставляю, ведь вставные тоже болят и их приходится опять заменять свежими, так что на мой счет вы, Николай Иванович, проехались совсем неосновательно…

Этот наивный ответ рассмешил всех присутствующих, в том числе и Куликова, который после этого, все-таки, не перестал получать краткие, но выразительные послания Петра Григорьевича.

Непризнанный трагик Павел Иванович Толченов, считавший себя забитым по милости Василия Андреевича Каратыгина, трагика признанного и знаменитого, был в жизни удивительным комиком. Он не отличался миловидностью, а люди со вкусом так просто называли его уродом, но зато сам о себе он был высокого мнения и в грубоватых чертах своего непредставительного лица видел классическую красоту. Гримировался он постоянно молодцевато, для какой бы ни было роли, и на свое шершавое лицо усердно накладывал молодые блики.

— Послушай, Толченов, — часто говорили ему товарищи, — ты вымазался не по характеру роли…

— Наоборот, даже очень характерно…

— Помилуй, по пьесе ты должен быть антипатичен, зол, с перекошенным лицом, а ты Аполлоном Бельведерским загримировался… Поправься, не хорошо…

— Что вы понимаете! Я в суть основательно вникнул и пришел к убеждению, что наружность должна быть контрастом душевных качеств изображаемого мною лица…

— Врешь! Из чего же ты заключаешь это?

— А из всего… Даже, говорят, в психологии сказано, что всякий злодей прежде всего привлекателен и интересен…

— Кто же тебе это сказал?

— Мне это по заграничным источникам известно…

— А как до тебя заграничные источники дошли?

— Убирайтесь вы от меня! Чего пристали, как дураки… Я пообразованнее вас, у меня сын в гимназии учится…

От нашего парикмахера (Федора Ефимовича Тимофеева, прослужившего при театре около 60-ти лет) Толченов всегда требовал нарядных париков, приглаженных, расчесанных, завитых. Однажды Тимофеев надевает ему на голову парик; Павел Иванович, разглядывая себя в зеркало, замечает:

— Не хорош!

— Чем же-с?

— Не к лицу.

— Что вы, помилуйте! Его всегда с большим удовольствием Иван Иванович[[3]](http://lib.ololo.cc/b/193622/read" \l "n_3" \o "   Сосницкий   ) надевает…

— Мало ли что Иван Иванович носит! Он мне не указ… Ему что ни надень, он все урод уродом будет, а я не хочу отвращением выглядеть…

— А другого подобного нет-с, Павел Иванович.

— Я этого не надену!

— Как же так?!

— А так, не надену, и кончено!.. Что это за парикмахер, если у него ничего подходящего нет!… Вот твой парик, полюбуйся!…

Толченов был вспыльчив. Сорвал он с головы своей парик и швырнул его на пол.

— Это ужас! Это безобразие!— выходя из себя, начал кричать трагик. — Париков— нет! Начальства— нет! Порядка— нет! И. это императорским театром зовется!.. Я этого так не оставлю!.. Я поеду жаловаться!.. Дайте мне адрес государя!.. Где живет государь?..

Разумеется, все присутствовавшие в уборной без умолку хохотали над расходившимся Толченовым, а он еще более горячился и говорил несообразности.

В сороковых же годах служил в Александринском театре небольшой актер Осип Осипович Прохоров, большой анекдотист и невоздержный любитель предательской рюмочки. Он был родом француз и настоящая его фамилия— Дальмаз. Этот самый Прохоров упоминается Гоголем в бессмертном «Ревизоре», в сцене первого акта, когда городничий спрашивает квартального:

ГОРОДНИЧИЙ. … да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?

КВАРТАЛЬНЫЙ. Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен.

ГОРОДНИЧИЙ. Как так?

КВАРТАЛЬНЫЙ. Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился[[4]](http://lib.ololo.cc/b/193622/read" \l "n_4" \o "   \«Ревизор\», изд. 2-е, Москва, 18S41 года.   ).

Эта сценка вписана была Николаем Васильевичем на одной из репетиций, когда на оклик городничего, которого изображал И. И. Сосницкий, вбежал какой-то выходной актер и стал читать роль квартального, а так как на предыдущих репетициях эту роль репетировал Прохоров, то Сосницкий спросил от себя:

— А Прохоров где?

— Опять запьянствовал…

Гоголю так понравился этот частный разговор, что он тут же вставил его в свою комедию в вышеприведенной редакции. Таким оригинальным образом Осип Осипович «попал в литературу», как сам он выражался про этот эпизод.

Осип Осипович был очень умен и образован и, не смотря на все это, не мог уразуметь всю бесшабашность своего поведения и умерить свое пристрастие к излишеству в питиях, за что несколько раз позорно был выгоняем со службы самим Гедеоновым. Однажды, пробыв в отставке два месяца, Прохоров обносился, обеднел до крайности и надумал идти к директору проситься на службу снова.

Пришел в приемную и стал ожидать обычного выхода Александра Михайловича. Гедеонов в то утро был в веселом расположены духа. Он подошел к Осипу Осиповичу и ласково спросил его:

— А, Прохоров! Что тебе надо?

Прохоров, не говоря ни слова, полез в карманы, вынул два пистолета и наставил их на Гедеонова. Тот в ужасе отшатнулся и дрожащим голосом произнес:

— Что ты, безумный!

— Ваше превосходительство! — с пафосом воскликнул Прохоров и закончил водевильным тоном: — не угодно ли купить у меня для бутафории два пистолета! Вы меня выгнали — я умираю с голоду…

Гедеонов мигом успокоился и, смеясь, сказал:

— Иди в контору и скажи, что я приказываю принять тебя вновь, но только, смотри, в последний раз…

Прохоров был вообще чудак. Как-то казенная наша карета останавливается на Фонтанке у живорыбного садка. В карете сидели я и Леонидов.

— Ты к кому?— с удивлением спрашиваем мы кучера.

— К Прохорову-с!

— На садок-то?

— Да-с, они живут здесь…

Кучер пошел за ним. Через несколько минут влез к нам в карету Осип Осипович.

— Каким образом вы обитаете тут? — обратились мы к нему с вопросом.

— Нездоровится что-то… Доктор прописал ехать на воды, а средств нет. Вот я и переехал сюда… на дешевые воды…

Жил он на садке около года, нанимал за дешевую цену коморку и уверял всех, что жизнь на водах имеет чудесное влияние на его здоровье.

Кто-то разговорился с Прохоровым о газетах.

— Да вы, Осип Осипович, кажется, ничего не читаете?

— Зачем?

— Ну, все-таки, интересно же знать, что делается в Европе?

— А я каждый день бываю в «Европе»[[5]](http://lib.ololo.cc/b/193622/read" \l "n_5" \o "   \«Европа\» — гостиница на Фонтанке, у Чернышева моста.   ) и знаю отлично, что там делается!

Был еще у нас актер Фалле, который мне памятен по одному печальному эпизоду, происшедшему в нашей уборной во время представления трагедии «Разбойники».

В одном из антрактов, бутафор подал Фалле пистолета, нужный ему для сцены, как действующему лицу. Он начал с ним проделывать различные эволюции.

— Не шали, — кто-то заметил ему.

— Ничего, не выстрелить…

— Бывали примеры… брось лучше…

— Если кто из вас, братцы, захочет стреляться, то самое лучшее пускать пулю в рот… Вот так…

Фалле вложил дуло пистолета в рот, нажал курок и вдруг последовал неожиданный выстрел. Нас всех передернуло. Фалле упал, изо рта его хлынула кровь.

Пистолет оказался заряженным пыжом. Благодаря недосмотру бутафора и собственной неосторожности, несчастный храбрец поплатился долговременной болезнью и лишился ясности произношения.

Кстати об авторе комедии «Ремонтеры», некоем г.Мирошевском, с которым произошел такой забавный казус. Он созвал через начальство всю драматическую труппу на сцену Александринского театра для слушания его произведения, сказать к слову, очень плохенького, не выдерживающего никакой критики. Читать комедию взялся сам автор. При его монотонном чтении пьеса еще более теряла занимательности, но сам он своим чтением так увлекся, что не замечал сперва сдержанных улыбок слушателей, потом откровенного смеха их и, наконец, их поочередного исчезновения из театра. Порыв же увлечения его сдержал сторож, невольный свидетель всей происшедшей сцены; он степенно подошел к чтецу и, подавая ему ключ от выходной двери, сказал:

— Барин, вот ключ, — когда кончите, так заприте!

**VI**

Поездка в Москву. — Знакомство с московскими артистами. — Д.Т. Ленский. — Его остроты.

Наслышавшись много похвального про московскую труппу, я возымел непременное желание побывать в Москве и самолично проверить рассказы знакомых театралов. Я выпросился у дирекции в месячный отпуск и поехал в Белокаменную. Железных дорог тогда еще не существовало, и мне пришлось тащиться в дилижансе около недели.

Приехав в Москву, прежде всего я пошел представиться директору московских театров, Михаилу Николаевичу Загоскину, который принял меня очень любезно и предоставил мне свободный вход в театр Петровского парка, так как время было летнее и вся труппа Малого театра играла по обыкновению на дачной Петровской сцене.

Мне привелось быть на первом дебюте Прова Михайловича Садовского, выступавшего в водевилях «Любовное зелье» и «Дезертир». Чуткая московская публика с первого выхода оценила артиста по достоинству; прием ему был оказан радушный. Я был за кулисами и видел, как сами актеры восторгались его талантливой игрой…

Во время своего недолгого пребывания в Москве, я познакомился с Щепкиным, Ильей Вас. Орловым, Мочаловым, Живокини, Самариным, а так же и с Михаилом Андреевичем Максимовым, суфлером Малого театра, а впоследствии актером Александринской сцены. Особенно хорошее впечатление произвела на меня актриса Репина, лучшая сила тогдашнего персонала московской труппы. Она играла с замечательной простотой и чувством; вместе с нею переживал зритель все перипетии героини пьесы.

Наибольшей симпатией публики в то время пользовались Щепкин и Живокини. Мочалов имел тоже громадный успех, но его поклонники разбивались на парии, так что такого единодушия в восторгах от его действительно высоко-талантливой игры не было, как от игры Щепкина или Живокини… Живокини был комик, Мочалов— трагик, между тем в даровании того и другого было нечто общее: Живокини заставлял публику смеяться до слез, а Мочалов производил на нее такое потрясающее впечатление своим гением, что она плакала до истерического хохота…

С Ленским я был уже знаком, и потому мы встретились с ним, как старые товарищи. В сущности ему я и обязан знакомством с московскими актерами, которым он меня любезно представил и не по заслугам расхвалил.

Его бесчисленные остроты были в моде и передавались из уст в уста по всей Москве. Меткость и удачность его эпиграмм и экспромтов порождала даже личных врагов, крупные недоразумения и непримиримые размолвки, между тем Дмитрий Тимофеевич не имел злого сердца и все, что срывалось с языка его, было не намерением кого либо обидеть, а только ловко подхватить. Многие остроты были так неожиданны для самого Дмитрия Тимофеевича, что он почти тотчас же сам раскаивался в них.

Ленский был приглашен Ильей Васильевичем Орловым на свою свадьбу. В церкви, при венчании, была масса народу, принадлежавшая в большинстве к артистическому Миру. Дмитрий Тимофеевич был в тот день очень весел и особенно остроумен, остроты и каламбуры так без перерыва и срывались с его языка. Окружавшие Ленского хохотали без умолку, обращая на себя общее внимание. Когда венчание было окончено, Дмитрий Тимофеевич вместе с другими подошел к новобрачным и вместо обычного поздравления произнес экспромт:

Илья, Васильев сын, Орлов,

Женился для приплода.

Досмотрим же ребят

Орловского завода!

Как-то, проходя мимо Большого театра, где шла чуть не в сотый раз репетиция «Аскольдовой могилы», Ленский остановился с хористами, вышедшими во время антракта на театральный подъезд покурить.

— Что репетируете?

— Могилу.

— Которая же это у вас проба?

— Восемьдесят третья.

— Ну, значить, завтра вы будете дураки восемьдесят четвертой пробы.

В сороковых годах был командирован из Петербурга в Москву наш непризнанный трагик Толченов. Он должен был выступить перед москвичами в нескольких сильных ролях своего классического репертуара. При первом и не совсем удачном дебюте его, у Дмитрия Тимофеевича спрашивают мнения о гастролере.

— Много у нас добра своего, — ответил Ленский, — а тут еще прислали Толченова.

Бывший калязинский предводитель дворянства Л.А. Р-ский имел страсть к вокальному искусству. Он в молодости имел голос и учился одно время в Италии; в позднее время жизни, разумеется, голос пропал, но манера петь сохранилась, что при его особенной охоте услаждать слушателей своим пением было очень забавно. Недостатки своих голосовых средств Р-ский заменял уморительными ужимками, мимикой и театральной жестикуляцией. По этому поводу Ленский однажды сказал:

— В молодости у Р-ского был tenor di gratia, теперь у него тенор пропал и осталась одна грация.

В доме у Ш., во время исполнения Р-ским каких-то чувствительных романсов, кто-то из присутствующих спросил у Дмитрия Тимофеевича:

— Это баритон?

— Нет, совритон, — ответил остряк.

Во времена Ленского в Москве жил известный богач Куманин, расточавший свои богатства без зазрения совести. Дмитрий Тимофеевич, выходя с ним вместе от знакомых. разговорился об его дорогой собольей шубе.

— Поди, дорого она тебе стоила?

— Полторы тысячи… и по-моему очень дешево, потому что хороша.

— Хороша-то хороша, но только моль в ней…

Куманин ответом не нашелся…

В заключение приведу еще удачную остроту Дмитрия Тимофеевича, которую я слышал от одного покойного сослуживца, бывшего случайным свидетелем ее.

В бытность свою в Петербурге, Ленский обыкновенно проводил вечера за театральными кулисами, в среде товарищей и друзей, относившихся к нему любовно и крайне радушно.

Однажды, во время представления оперы «Роберт и Бертрам», Ленский блуждая по сцене перед началом третьего действия, нападает на влюбленную парочку, которая вела переговоры в необыкновенной позе. Она (балетная танцовщица), изображавшая тень, лежала в гробу, а он (наш всесильный директор театров) стоял перед ее гробом и вел с нею оживленную беседу. Нужно заметить, что близость директора к танцовщице уж очень рельефно обозначалась ее полнотой, несколько нарушавшей иллюзию и мешавшей ее сценическому успеху. Словом наступало такое время, когда уже нельзя было выступать на подмостках, но расчетливая артистка не могла помириться с мыслью потерять свои значительные разовые и продолжала, при помощи своего поклонника, «не наносить себе материального убытка».

Завидя их, Дмитрий Тимофеевич подходит к директору и шутя говорит:

— Чудотворец вы, ваше превосходительство!

— Каким образом?

— А таким, — ответил Ленский, указывая на танцовщицу, — и сущим во гробех живот даровав.

**VII**

Откупщик Кузин. — Моя поездка в Харьков. — Отпуск. — М.Г.П. — Отставка. — Актер Ершов. — Начало провинциального скитания. — Антрепренер Каратеев. — Перемена фамилии. — Гастроли Щепкина и Мартынова. — Поездка на ярмарку в Кременчуг вместе с Мартыновыми — Несчастие с пароходом. — Потопление Мартынова в Днепре. — Его спасение Горевым-Тарасенковым.

У отца моего бывал по делам откупщик Кузьма Никитич Кузин, харьковский меценат и строитель местного театра, существующего до сих пор. Он был любитель и знаток по-своему вообще всех искусств и в особенности театрального. Свой харьковский театр он сдавал известному в то время провинциальному антрепренеру Людвигу Юрьевичу Молотковскому[[6]](http://lib.ololo.cc/b/193622/read" \l "n_6" \o "   Его настоящая фамилия была Млотковский; Молотковским же он был прозван актерствующим людом.   )), делавшему там хорошие дела.

Кузин, узнав, что я служу на сцене Александринского театра, стал меня звать погостить к себе в Харьков, соблазняя большим барышом, если я выступлю там в нескольких спектаклях.

— Стоить ли? — сомневался я в обещаниях Кузина.

— Еще бы! — с увлечением разубедил он меня. — Провинциальная сцена — это такая прелесть, о которой вы и понятия не имеете! Прежде всего в провинции заслуги актеров измеряются не численностью лет, выжитых ими за кулисами, а их дарованием, которому дается простор и возможность выказать себя во всей полноте и блеске. У нас не практикуется затиранье, столь развитое на столичных сценах, и нет интриг, то-есть, есть, но настолько незначительные, что не имеют по себе никаких последствий… Я серьезно уверен, что, как попадете на провинциальную сцену, так и расстаться с ней не захотите…

— Ну, это, кажется, неправда! — возразил я. — Почему же все провинциальные актеры жаждут службы на казенной сцене?

— Из тщеславия, конечно.

Я взял от дирекции месячный отпуск и отправился в Харьков, специально затем, чтобы попробовать свои силы на провинциальных подмостках, так симпатично обрисованных Кузьмой Никитичем, который дал мне рекомендательное письмо к Молотковскому.

Людвиг Юрьевич встретил меня очень любезно и радушно, тотчас же предложив дебютировать в чем мне угодно. Я выбрал милого мне «Стряпчего под столом», в котором и выступил впервые перед харьковскою публикой с большим успехом. Об этом и о последующих успехах в Харькове я потому упоминаю, что они сбили меня с толку, и я, благодаря им, ни на минуту не задумывался покинуть сцену столичную и окончательно перейти на провинциальную.

Отпуск мой приходил к концу, мне надлежало возвратиться в Петербург, но Молотковский стал убеждать меня сказаться больным и попросить у дирекции продолжение отпуска еще на месяц. После продолжительного колебания, я уступил его настоянию и телеграфировал матери своей, чтобы она лично отправилась к Гедеонову и, объяснив ему мое мнимое болезненное состояние, удерживающее меня на юге, попросила бы еще на один месяц отпуска.

Впрочем, быть может, я бы не так легко поддался убеждениям Молотковского, если бы не было еще одного очень важного обстоятельства, мучившего меня своею невыясненностью. В свое короткое пребывание на сцене Харьковского театра увлекся я миловидной актрисой М.Г.П., здравствующей доныне, и сделал ей предложение, на которое она ответила полуотказом. Свой полуотказ она мотивировала тем, что такую скоро приходящую любовь должно основательно проверить, и тогда только решиться на серьезный шаг, дабы не пришлось впоследствии раскаиваться за него и дорого поплатиться…

— Сперва нам нужно пуд соли съесть вместе! — припомнила она популярную русскую пословицу, с которой nolens-volens пришлось согласиться.

Любезность Гедеонова распространилась еще на добавочный месяц отпуска, и я продолжал свои гастроли. Когда подошел конец и этому отпуску, я с М.Г.П. повел опять разговор о женитьбе.

— Поедем в Петербург и там повенчаемся…

— Ну, какие мы супруги будем, — сказала она, — мы не пара…

— Как не пара? Почему?

— Вы— столичный, я— провинциальная…

— Бог даст, и вы пристроитесь к нам, в Александринку…

— Во-первых, это трудно, во-вторых, у вас тяжело от интриг, а у Молотковского мне отлично живется…

— Если только смущает вас моя казенная служба, то да буду и я провинциальным актером! — произнес я с пафосом и тотчас же послал в Петербург прошение об отставке. На этот раз я адресовался уже прямо к самому директору, но ответа от него никакого не получал долгое время. Я писал к Александру Михайловичу еще и еще раз, но мои послания оставались гласом вопиющего в пустыне. Наконец, хлопотать об отставке я начал через мать. Упросил ее опять отправиться к Гедеонову и спросить, почему моя просьба не приводится в исполнение? При чем я надоумил ее сказать ему, что отставка мне необходима в силу моего расстроенного здоровья, недопускающего скорого возвращения моего в Петербург в виду вредного для меня столичного климата.

— Ну, хорошо, — ответил Гедеонов моей матери, — я дам отставку, но уж зато никогда больше не приму его в нашу труппу. Так ему и отпишите. Он ведь знает, как я привыкаю к своим, и как не люблю с ними расставаться.

Получив отставку, радостный и веселый прибегаю к М.Г.П.

— Вот моя отставка! — восторженно воскликнул я, торжественно показывая ей долгожданную бумагу. — Теперь, наконец-то, я могу жениться на вас!

— Ну, что об этом разговаривать! — сказала спокойно М.Г.П., так спокойно, что меня даже передернуло.

— То есть, как же об этом не разговаривать?

— Да так, вы еще совсем мальчик! Кроме того…

— Что кроме того? — с ужасом вскричал я, предчувствуя в этой фразе что-то весьма недоброе…

— Кроме того, у меня есть жених, Алексей Алексеевич Ленский

— А я, я-то при чем? — заговорил я, уже совсем растерявшись. — Зачем же вы мне раньше об этом не сказали? Ведь я для вас карьерой своей пожертвовал! Что это за шутки были?

— Меня просил Молотковский удержать вас…

— А, когда так, я сейчас же уеду из Харькова и порву навсегда всякие отношения с ним.

Огорченный и разочарованный, пошел я к актеру Ершову, очень симпатичному человеку и отзывчивому товарищу. Пожаловался ему на свое незавидное положение и попросил его совета: что и как мне поступить?

— Э! Мальчик! — сказал мне Александр Васильевич. — Захотел ты верить в закулисную застенчивость! Все мы живем для себя только. Понадобился ты нашему Людвигу, он тебя с верного места сковырнул, да как ловко сковырнул-то: сам чист, М.Г.П. в подозрении, а ты в дураках.

— Служить у Молотковского я ни за что не останусь, денег у меня никаких, — что мне делать и куда деться?

— Дня через три я в Киев еду, — проговорил Ершов, — если хочешь, поедем вместе. Я буду там играть, разумеется, поиграешь и ты…

— Я бы поехал, но как относительно денег справлюсь…

— Деньги пустяки! — философски рассудил Ершов. — Заложи что-нибудь, вот тебе и средства к существованию…

Я так и сделал. Заложил кое-что из гардероба и поехал с ним в Киев «на долгих», но при всех наших дорожных экономиях наши ресурсы оказались настолько незначительными, что окончательно расплатиться с ямщиком мы не могли. Пришлось прямо с дороги приехать к местному антрепренеру Анатолию Васильевичу Каратееву и просить его об уплате за нас вознице. Для людей, незнакомых с закулисного жизнью провинциальных актеров, будет небезынтересна картинная встреча наша с антрепренером.

— Вот и я!— возвестил о своем явлении Ершов, переступая порог квартиры Каратеева.

— Наконец-то!— весело встретил его Анатолий Васильевич. — А уж я думал, надуешь!

— Я никого не надувал, ты должен знать, мой друг, в подлунной! — продекламировал Ершов и, указывая на меня, проговорил:— вот я с собой на всякий случай актерика прихватил!

— На простачков?— живо спросил меня антрепренер, принимая деловой вид.

— Да, и на комиков!— поспешил я ответить.

— Очень хорошо, очень хорошо… Но только не иначе, как с дебюта, потому что у меня на амплуа это уже есть…

По театральному этикету, это деликатный отказ. Я почувствовал себя не совсем хорошо. Я было стал отвечать ему согласим, но Ершов перебил меня.

— Это потом! Теперь будем говорить о делах текущих, важных, неотложных! Анатолий, заплати за нашу тройку, у нас ни одного луидора!

— Сколько?— спокойно спросил Каратеев.

Ершов сказал цифру, антрепренер тотчас же отсчитал требуемую сумму и выслал ее ямщику, после чего уже мы поздоровались, я отрекомендовался и повели дельный разговор.

Дня через два я дебютировал. Публика принимала меня радушно, Каратееву видимо я понравился, но заключить со мною условие он не решился. После уже третьего дебюта мне было предложено им: сторублевый месячный оклад и один полубенефис. Такое жалованье в то время называлось очень солидным, и я, разумеется, с большою радостью ухватился за него; в особенности же льстил моему самолюбию полубенефис, которого я не имел в Петербурге.

По просьбе антрепренера, я дебютировал и все время играл под фамилией Александрова. Он мне отсоветовал называться в Киеве «актером Алексеевым», под именем коего киевлянам был известен драматический герой Алексеев, пользовавшийся абсолютною ненавистью всей театральной публики, которая одно время дошла до того, что имя этого отчаянного трагика не могла видеть равнодушно даже на афишах.

В Клев я приехал в январе 1843 года, и весь комический репертуар лежал на моих плечах до начала мая, до приезда к нам на гастроли Михаила Семеновича Щепкина из Москвы и Александра Евстафьевича Мартынова из Петербурга; впрочем, последний прибыль в Киев уже в конце мая, после триумфов своего знаменитого коллеги.

Появление двух колоссов на одних подмостках вызвало разделение публики на группы, делавшие своим любимцам овации, встречи, проводы. Киевляне долго помнили это знаменательное для их театра лето. Особенный бури восторгов вызывал Щепкин изображением малороссов, которые в его исполнении выходили такими живыми, типичными, что сами малороссы узнавали в нем себя, со всеми своими привычками, особенностями и оригинальностями. В свою очередь, Мартынов сводил с ума всех своим неподражаемым комизмом, не шаржированным, не утрированным, чуявшим предел, имевшим большое значение для киевских ценителей и судей, любивших и хорошо понимавших драматическое искусство. Мартынов и Щепкин, по экономическому расчету антрепренера, играли поочередно и только свои излюбленные роли; остальные роли они раздавали по собственному усмотрению, так что во время своих гастролей они являлись не гостями, как бы это подобало, а хозяевами, и какими взыскательными хозяевами! Антрепренер, режиссер, «первачи», все отошли на задний план и смешались в общую группу, никто не имел ни авторитета, ни самостоятельности, все делалось беспрекословно так, как хотели гастролеры.

Щепкин вздумал поставить для себя «Ревизора». Это был лучший городничий, признанный самим автором. Роли распределил он на режиссерском экземпляре самолично, кроме одной, это — Хлестакова, сказав Каратееву, чтобы он попросил Мартынова взять роль Хлестакова на себя. Послушный совету гостя, антрепренер отправился к Александру Евстафьевичу и замолвил слово о роли Хлестакова.

— Нет, эта роль мне тяжела, — ответил Мартынов, — да и вообще в «Ревизоре» для меня нет ни одного действующего лица, которое подходило бы под мой жанр. Я играл Бобчинского, Осипа и Хлестакова, и ни один мне не удался, то есть, не так, чтобы публика видеть меня не могла, нет, принимали во всех этих ролях меня чудесно, но сам-то собой я не удовлетворялся, не чувствовал себя на своем месте. В «Ревизоре», Бог знает почему, мне всегда тяжело; комедия эта — величайшее произведение, но я в ней ни к селу, ни к городу… Хлестаков во мне особенно скверен… Вот разве Осип еще туда-сюда… Если хотите его я сыграю…

Каратеев возвратился к Михаилу Семеновичу и оповестил его об отказе Мартынова от роли Хлестакова.

— В таком случае, — ответил Щепкин, — передайте ее Александрову.

По предварительной отметке Щепкина, я должен был играть Бобчинского и явился в театр репетировать эту роль, но перед самой репетицией ко мне подходит антрепренер и, вручая мне объемистую роль Хлестакова, говорить:

— Ивана Александровича придется играть вам!

— Как?— перепугался я, и решительно ответил: — Не могу!

— Почему?

— Потому что я так ее провалю, что вы вместе с Щепкиным свету не взвидите!

— Вздор! Эта роль в вашем характере…

— Да нет же… Отчего вы любовнику не дадите?

— Оттого, что Михаил Семенович велел вручить Хлестакова именно вам…

— Да откуда он взял, что я с ней справлюсь?

— А уж это спросите у него.

Я так и сделал, подошел к Щепкину и заявил:

— Хлестакова мне не сыграть?

— Сыграете!

— Роль эта мне просто не по силам?

— Осилите! Я с вами, если хотите, пройду эту роль…

— Разве только при таких условиях…

— Займитесь ею хорошенько, и она будет вашею коронною ролью…

Под руководством Щепкина я разучил Хлестакова и, благодаря этому, сыграл его так, что удостоился похвалы и от публики, и от Мартынова, и от самого учителя своего. Щепкин был таким превосходным городничим, а Мартынов— Осипом, что «Ревизор» прошел у нас шесть раз под ряд при полных сборах.

В июне сборы в нашем театре пали, наступившая жара отбила у публики охоту просиживать вечера в душном театральном здании. Даже Щепкин и Мартынов ничего не могли поделать с апатией театралов.

Михаил Семенович был человеком состоятельным, не особенно нуждавшимся в гастрольном гонораре, а разъезды его по провинциям можно просто объяснить желанием показать себя. Мартынов же, наоборот, бедствовал с обременявшим его семейством и ездил на гастроли с единственною целью зашибить лишнюю копейку. Поэтому при упадке сборов Щепкин трогательно распрощался с киевлянами и, не доведя до конца серию своих гастролей, отправился домой в Белокаменную. А Александр Евстафьевич при всем желании не мог последовать примеру своего знаменитого товарища, карман его был тощ, да и, кроме того, по своей бесконечной доброте он допустил Каратеева задолжать ему за несколько спектаклей, что составляло довольно солидную цифру денег. В этом случае Щепкин был предусмотрительнее и требовал условленную сумму перед выходом на сцену. Таким образом, он никогда от своих гастролей не терпел убытка.

— Александр Евстафьевич, а ведь теперь я не могу вам уплатить своего долга, — сказал как-то Каратеев петербургскому гостю.

— Да вы как-нибудь, — ответил конфузливо комик, — хоть частями… Да ведь и не Бог весть, как много мне надо…

— Сами видите, какие дела, могу ли из этих сборов я вам хоть один грош уделить?

— Так-то оно так, но, все-таки…

— Не помиримся ли мы с вами вот каким образом: поезжайте вместе с нами на Ивановскую ярмарку в Кременчуг?

— Что из этого последует?

— Последует то, что я там выплачу вам весь долг до копейки…

— Ну, что же поделаешь с вами? Разумеется, я согласен…

Через несколько дней все мы собрались в путь-дорогу и поехали на пароходе по Днепру. Александр Евстафьевич во все время нашего путешествия был душою общества; он очаровал всех своею простотою и любезностью. Посторонние пассажиры жадно прислушивались к его беспрерывным рассказам и с большим почтением заводили знакомство с кем либо из нашей труппы.

Посредине пути с пароходом случилась катастрофа. По оплошности рулевого он сел на мель и так неудобно, что, по объяснению капитана, нужно было несколько часов работы, чтобы стащить его с подводного земляного бугра, в который он врезался всею своей массивностью. Некоторые нетерпеливые пассажиры при посредстве лодок сошли на берег, немногие спустились в каюты, а наша компания осталась на палубе. Во время этого происшествия плавного разговора не заводилось, а отрывочные скоро надоели, и наступало время от времени томительное молчание.

— А не покупаться ли нам, господа? — в одну из особенно продолжительных пауз воскликнул Мартынов.

— Ну, какое теперь купанье! — кто-то отозвался.

— Прекрасное! Поплескаться на открытом месте— один восторг… Только вот нужно попросить капитана, чтобы он нас на берег высадил…

Обязательный капитан исполнил просьбу артиста, и Мартынов в сопровождении небольшой группы смельчаков отправился на берег. Каратеев, во имя благопристойности, повел дамский элемент в каюты и остался там разыгрывать роль галантного кавалера. Я же, никогда не испытывавший удовольствия от необъятных морских или речных ванн, остался на палубе скромным наблюдателем храбрых купальщиков.

Перед входом в воду, на берегу, как передавали мне, происходил такой разговор между Мартыновым и его спутниками:

— Днепр-то бушующий! страшно знакомиться с ним, — заметил трусливо вообще храбрый наш трагик Горев-Тарасенков, редкий тип истого провинциального актера, олицетворенного Островским в его характерной комедии «Лес» под именем Несчастливцева.

— Эх, ты! — насмешливо ответил Александр Евстафьевич. — Такой большой и с таким маленьким мужеством!

— Ну, ты мне этого не говори! Я не из-за себя, а из-за тебя больше… Плаваю я превосходно, из какой угодно глубины вынырну, а ведь твою силу любая волна перешибет, и пойдешь ты ко дну на подобие топора…

А вот я тебе покажу сейчас, как меня волны перешибают!..

— Александр Евстафьевич, — скромно заметил театральный машинист Ефремов, — вы осторожнее ныряйте, все дно покрыто скалами да камнями… и порогов много, как бы не закрутило…

— Вздор! Ведь я не первый раз в воду иду, — проговорил Мартынов и бросился в Днепр.

Его примеру последовали спутники, однако, державшиеся ближе к берегу, а непослушный комик, молодецки рассекая волны, поплыл к середине реки. Я с палубы следил за ним и наблюдал его хитроумные эволюции в воде, для остальных же купальщиков он стал незаметен. Вдруг вижу я, Мартынов точно нырнул, но что-то долго не появляется на поверхности. Сердце инстинктивно екнуло… Вдруг на секунду поднимается из воды его голова, и до меня доносится страшное слово:

— Помогите!

Еще через секунду:

— Тону!

Я закричал всею силою своей груди:

— Спасайте! Спасайте! Тонет!…

И указал рукой то место, где Мартынов боролся с речною стихией.

Самоотверженный трагик Горев-Тарасенков схватил у берега какую-то лодчонку, подъехал к захлебывавшемуся комику, ловко схватил его за шею и вытащил из воды.

Мой крик всполошил весь пароход, все, бывшие в каютах, выскочили на палубу и, уже не обращая внимания на праотцовские костюмы господ купальщиков, с сердечным трепетом следили за утопавшим Мартыновым. Многие плакали и крестились…

Когда подвезли Александра Евстафьевича к пароходу, он был без чувств. Его осторожно снесли в машинную отогреваться. Положили на импровизированную постель, состоявшую из одеяний кочегара, сердобольного малого, пожертвовавшего свое имущество для «отходящего», как полагали в первые минуты происшествия. Потом Мартынов отлежался, пришел в себя и со слезами на глазах благодарил всех за оказанную ему помощь и сострадание, особенно признателен он был Гореву-Тарасенкову, который отвечал ему коротко:

— Дурак ты!.. Говорили — не слушал, ну, и дурак!… Сам-то по глупости своей тони, наплевать, а за что же бы талант твой погиб?…

По приезде в Кременчуг, Мартынов прежде всего отправился в церковь и отслужил благодарственный молебен. Из актеров один я был вместе с Мартыновым в храме и видел, какие теплые молитвы он возносил Господу за свое спасение; весь молебен он простоял на коленях и рыдал навзрыд…

**VIII**

Отъезд Мартынова из Кременчуга. — Отношения Каратеева к актерам вообще и в частности ко мне. — Моя ссора с ним. — Последний спектакль с полицией на сцене. — Буфетчик Симка. — Как он приютил меня. — Его советы и помощь. — Антрепренер Зелинский. — Ромны. — Елизаветград. — Н.X. Рыбаков. — Как он женил меня. — Анекдоты про Рыбакова.

Сыграв с громаднейшим успехом несколько спектаклей в ярмарочном театре и получив сполна весь долг с Каратеева, Александр Евстафьевич собрался уезжать в Петербург, где ожидали его казенные спектакли.

Во все время пребывания его в нашей труппе, я чувствовал себя бесконечно счастливым и спокойным. Все свободные от театра минуты мы проводили с ним вместе, и над нашей искренно-братской дружбой легкомысленные люди пытались даже подсмеиваться. Моя привязанность к нему имела серьезные основания, благодаря тому, что он с самого первого дня своего приезда вспомнил меня, своего старого сослуживца, приласкал и пригрел. Всего этого было достаточно для того, чтобы полюбить Мартынова всем сердцем, всей душой. Все время в провинции я был окружен чужими, черствыми, закаленными людьми, которые смотрели на меня, в сущности, как на новичка, имеющего большой ход, не то чтобы очень неприязненно, но не без зависти, плохо скрываемой и обнаруживающейся при каждом удобном и неудобном случае… Много дней пришлось переживать в тяжелом раздумье и мучительном сознании, что мой уход с казенной сцены такая непростительная ошибка, что придется за нее платиться всею жизнью. К этому присоединилась тоска по Петербургу, по родным, знакомым, и тягостное ощущение бездомничества, бесприютности, скитальческого прозябания в захолустьях. Я ужасался своего положения, и вдруг является ко мне ангелом-утешителем Александр Евстафьевич, ободривший меня, отнесшийся ко мне сочувственно, братски. Я опять окреп духом. За все это как же мне было не ценить его, как же не боготворить? И на сколько правы те, которые находили в моей привязанности к Мартынову тщеславную дружбу с знаменитостью? Меня легко поймет тот, кто сам испытал хоть какое-нибудь одиночество; не говорю уже про закулисное одиночество, где под тяжестью интриг и неприятностей задыхаешься без всякой надежды на благоприятный исход, и на выручку вдруг являлся искренний, правдивый, сердечный человек…

Когда Александр Евстафьевич стал сбираться в Петербург, я снова захандрил; в перспективе стало обрисовываться то же мучительное одиночество, без теплого сердца, без ласкового голоса; серые люди, серые дни…

Мартынов поехал на почтовых. Провожать его никто не явился. Я помогал ему укладываться и отправился с ним вместе до первой станции, на которой по русскому обычаю устроили «отвальную» и разъехались в разные стороны.

— Ты не скучай здесь, — сказал мне при прощанье Александр Евстафьевич, — поиграй немного, да к нам и приезжай…

— Гедеонов ни за что меня не примет, он не любит, когда сами со сцены уходят…

— Так-то так, но Бог милостив, — пристроишься снова…

— Нет уж, чувствую я, что не бывать мне больше в Александринском театре…

— Вздор, ничего ты не чувствуешь, а блажишь только… Побывай в Питере, повидай генерала, но в хорошую минуту повидай, и опять ты будешь нашим…

— Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается…

— Ну, если так отчаиваться ты будешь, то, конечно, из медвежьих углов на свет Божий никогда не выберешься. А ты прихрабрись и жди момента, таковой непременно придет. У каждого человека эти моменты бывают, да не каждый человек ими пользоваться умеет. Распустит нюни, как ты, и все мимо себя пропускает, между тем как за этот самый момент уцепиться надо, а он по сторонам ротозейничает и дурак-дураком стоить…

Являясь для других моралистом, сам Александр Евстафьевич был в жизни именно таким ротозеем и никогда никаких не ловил моментов, о которых он так горячо расписывал и которых у него было много.

Чокнулся я с Мартыновым последней чаркой, поцеловался и распростился. Сел он в кибитку и поехал. Я долго следил за ним, пока окончательно не скрылся из глаз его дореформенный экипаж; в свою очередь и Александр Евстафьевич, высунувшись на половину из кибитки, кивал мне головой и махал клетчатым носовым платком…

После отъезда Мартынова, Каратеев резко изменился в своих отношениях ко мне. Он и вообще-то помыкал всеми нами, давая каждому почувствовать, что он хозяин, а тут вдруг и вовсе Тит Титычем сделался. Надо полагать, действовала на него чья-нибудь товарищеская сплетня про меня. Не любя возражений, а тем более напоминаний относительно жалованья, во всех своих закулисных действиях он был крайне произволен, что, разумеется, ожесточало против него служащих и возмущало даже самых спокойных из них. Фундаментом его благополучия служили штрафы, которые он налагал за всякую безделицу, за каждый незначительный промах, обыкновенно проходящий бесследно во всяком другом театре.

Имея крайнюю нужду в деньгах, являюсь я в одно прекрасное утро к антрепренеру и прошу его выдать часть следуемого мне жалованья, которое он задержал месяца за три.

— Нет у меня ни копейки!— грубо отрезал он.

— Я долгое время не беспокоил вас, но теперь подошло такое время, что есть нечего…

— А уж это не мое дело!

— Как не ваше? Я для вас работал, вы задолжали мне, благодаря чему я сижу без куска хлеба…

— Другим я более должен, да не требуют так назойливо…

— Я далеко не назойлив, красноречивым подтверждением чего могут послужить мои сапоги, износившиеся, отрепанные, которые при всей необходимости заменить новыми я не в силах, опять же благодаря вам…

— Мальчишка!— возвысил голос Каратеев. — Ты еще смеешь со мной разговаривать?

— Отчего мне с тобой не разговаривать? — так же грубо ответил я ему.

— А! Когда так, я тебе ничего не должен! Понимаешь, ты с меня не получишь ни одной копейки! Да еще по контракту прослужишь даром полгода…

Я тотчас же отправился к полицеймейстеру полковнику Бобухову и просил его заступничества. Он принял меня очень хорошо, вошел в мое положение и обещал свое покровительство. Не откладывая дела в долгий ящик, Бобухов послал рассыльного за Каратеевым. Когда тот явился, полицеймейстер предложил ему несколько формальных вопросов и, между прочим, такой:

— Почему вы не платили Алексееву (в Кременчуге я опять взял свою старую фамилию) три месяца жалованья?

— Как не платил? — Каратеев состроил удивленную физиономию. — До копейки все выплатил…

— А его расписки в получении у вас имеются?

— Расписок нет… да у меня вообще их не существуешь, всем на слово верю…

— А если вы своим служащим верите на слово, то зачем же с ними контракт заключаете? Тоже бы на слово…

— Контракты дело другое…

— Вижу, вижу, что контракты для вас дело другое… Я пригласил вас к себе для того, чтобы объявить вам, что контракт Алексеева вами нарушен неуплатой своевременно следуемых ему денег, на основании чего с этой минуты для Алексеева он не имеет никакой силы обязательства…

То есть как это контракт нарушен?

— А так, вы обязаны уплатить ему свой долг, а он продолжать службу у вас не желает…

— Этого нельзя. Сегодня назначен «Дезертир», и он в нем участвует. Афиши расклеены с его именем, а заменить эту пьесу другой я не имею возможности…

— Сегодня я сыграю, — заметил я Каратееву, — но прежде всего уплатите мне жалованье…

— У меня нет денег…

— А мне нечего есть. На голодный желудок игра на ум не идет…

— Я вам выплачу потом…

— Когда?

— Когда поправлюсь несколько… Что я не останусь перед вами плутом, даю честное слово при господине полицеймейстере…

Бобухин несколько смягчился и сказал мне:

— Ну, сегодня-то уж сыграйте!

Я согласился, но с тем, чтобы для ограждения моей личности от неприятностей со стороны антрепренера, на сцену и в уборную мою была поставлена полиция. Бобухов прикомандировал ко мне трех нижних полицейских чинов и одного квартального, которые не отходили от меня ни на репетиции, ни на спектакле.

Публика, узнавшая наше закулисное происшествие и его подробности, сделала мне овацию, которая пришлась очень не по вкусу самолюбивому и мстительному Каратееву…

В конце концов я оказался в крайне печальном положены: ни денег, ни квартиры, ни куска хлеба. Каратеев слова своего не сдержал и мне не выплатил ни одной копейки; квартирный срок давно минул, и я не считал возможным злоупотреблять доверием хозяев далее. Я уже совсем было упал духом, но на выручку ко мне явился наш театральный буфетчик, еврей Симка, очень добрый и сострадательный.

— Вам подложили свинью, — сказал он мне, встретясь со мной на ярмарочной площади. — И денег у вас нет. Ведь нет?

— Нет!

— Ну, вот как я знаю все хорошо!.. А когда у человека нет денег, то у него нет и квартиры. Ведь так?

— Так!

— Видите, как я прав!— самодовольно рассуждал Симка. — И нет так же обеда, ему нечего кушать. Ведь правда?

— Совершеннейшая.

— Вы не глядите, что я такой, а я все отлично понимаю!

— Это делает тебе, Симка, честь…

Симка как-то особенно потоптался на месте и, после небольшого молчания, конфузливо произнес:

— А если у вас ничего нет, то идите пока, на время, ко мне пожить…

— Спасибо тебе, Симка, но зачем же я к тебе поеду, ты сам человек бедный.

— Не бедный я, у меня всего хватит… И если вы пойдете ко мне, я вас живо на место устрою…

— На какое же? — улыбнулся я своему неожиданному покровителю.

— Вы не смейтесь, — слегка обиделся Симка, — я не шучу. У меня есть очень хороший знакомый антрепренер, Карл Михайлович Зелинский, который скоро поедет мимо нас на Ильинскую ярмарку в Ромны…

Я перебрался к Симке. Он жил на окраине города, в какой-то вонючей трущобе, населенной сплошь нечистоплотными сынами Израиля. Его семейство, состоявшее человек из пятнадцати, если только не больше, встретило меня довольно радушно и на перебой угощало всевозможными еврейскими снедями, к которым, при всей своей невзыскательности, особенно на голодный желудок, я не отважился прикоснуться.

Во время моего пребывания у Симки, Каратеев делал попытку помириться со мной, но я ее благоразумно отклонил, так как от дальнейшего пребывания в его труппе трудно было ожидать чего либо хорошего. Наконец, вскоре он и совсем собрался покинуть Кременчуг и переехать обратно в Киев. В день отъезда парохода с театральными деятелями, я получил приглашение яко бы от старых своих товарищей повидаться с ними и попрощаться на пароходе, но Симка меня предупредила

— Не нужно с ними прощаться. Не ходите на пароход,

— Почему?

— Они вас заманивают нарочно.

— Как нарочно?

— А так: как только войдете на пароход, Каратеев сейчас же прикажет тронуть его и отвезут вас в Киев, а уж там вы совсем пропадете. Киевский губернатор Бибиков к нему благоволит, ваш контракт признает сохранившим свою силу, и пробудете вы у Каратеева в кабале до тех пор, пока сам он вас не пожелает отпустить.

— Ну, это вздор! Этого быть не может…

— Может! Оттого-то я вас к себе и переманил жить, что все может быть. В прошлом-то году точь-в-точь, как я разговариваю, с одним актером произошло: взял он его обманно на пароход, да и промучил всю зиму… Тамошний губернатор до него очень ласков…

Запуганный Симкой, я так и не ездил прощаться со своими сослуживцами, как оказывалось, послушно плясавшими под антрепренерскую дудку.

Вскоре приехал в Кременчуг антрепренер Зелинский, с которым познакомил меня все тот же услужливый и обязательный Симка, отказавшийся наотрез взять от меня за все свои благодеяния какую-либо благодарность.

Зелинский оказался очень сговорчивым и хорошим человеком. Он не воспользовался моим безвыходным положением, эксплуатировать меня не стал, а наоборот отнесся ко мне крайне сочувственно и совершенно по-товарищески. Без всяких контрактов или условий он выдал мне авансом некую толику презренного металла и на свой счет повез меня в город Ромны.

По приезде в Ромны, призвал он портного и приказал ему обмундировать меня, так как я во время пребывания своего в труппе Каратеева порядком пообносился и поистрепался. Разумеется, все эти траты на мою персону он впоследствии вычел из жалованья, но, тем не менее, это красноречиво говорит в пользу его.

Ильинская ярмарка дала изрядный барыш Зелинскому. Впрочем, в то приснопамятное время ни одно театральное предприятие не оканчивалось такими печальными результатами, как сплошь и рядом бывает теперь. Тогда самый маленький городишко в состоянии был выдерживать сезон за сезоном и если не давать больших барышей антрепренеру, то во всяком случае прокормить его труппу; теперь же получается в итоге от самых громадных и даже признанных театральных городов значительный дефицит. То самое театральное дело, которое лет тридцать-сорок тому назад считалось очень выгодным, теперь обесценено до такой незначительности, что сколько-нибудь состоятельных охотников на него не отыскать, а если и находятся в наше время смельчаки, выступающие в качестве антрепренеров, то всегда безденежные и малодобросовестные, которые себя развязно подводят под поговорку: «ничего не имея, нельзя что либо потерять», а своих доверчивых служащих приводят к нищете. Теперь в провинции нет антрепренеров, а следовательно нет театров и нет артистов. Впрочем, многое-множество народа играет, кажется, нет такого города, в котором не гостила бы какая-нибудь кочующая труппа, но что это за исполнители, столичный житель и представить себе не может!

По окончании Ильинской ярмарки, мы покинули Ромны и направились в Елизаветград. Тут дела были тоже не дурны. Зелинский одновременно держал два театра— Елизаветградский и Николаевский. Играли мы с переездами: известный промежуток времени пробудем в Николаеве и ровно столько же в Елизаветграде. Благодаря периодам, мы не надоедали ни той, ни другой публике, что благоприятно влияло на сборы. Зелинский был человёк очень практичный и всякие благоприятные обстоятельства уяснял превосходно. Он верно рассчитал, что ни тот ни другой город в отдельности выдержать большой труппы не в состоянии (а у Зелинского труппа была большая), но оба города в складчине не только покроют расходы, но даже и кое-какую наживу дадут. Оно так и было.

К концу ярмарочного сезона в Ромнах наша труппа увеличилась. Зелинский выписал знаменитого провинциального трагика Николая Хрисанфовича Рыбакова, типичного представителя закулисной жизни доброго старого времени. Будучи всеобщим любимцем, Рыбаков приподнял сборы еще значительнее, так что Зелинскому больше ничего не оставалось делать, как только потирать руки от удовольствия.

Во время своего совместного пребывания с покойным Николаем Хрисанфовичем на одной сцене, а впоследствии даже породнившись, мне пришлось довольно близко узнать его и полюбить всем сердцем. Это был добрый, искренний, прямой и бесхитростный человек, неоценимый товарищ и примерный семьянин. Обладая в полном смысле «артистической» натурой, то есть будучи немножко на правах гения, он не питал достодолжного уважения к презренному металлу и относился к нему почти равнодушно. Николай Хрисанфович не знал «последней копейки» и о завтрашнем дне совсем не думал. По своей бесконечной доброте, он в состоянии был снять с себя единственный сюртучишко и отдать его неимущему, а про деньги и говорить нечего: если, бывало, жена не успеет отобрать их от него, то не смотря ни на какую их значительность, он «протирал им глаза» в самое непродолжительное время.

— Ты, кажется, беден! — говорил он в таких случаях какому-нибудь собутыльнику или просто первому встречному.

— Нельзя сказать, Николай Хрисанфович, чтобы очень богат был…

— Я, брат, отлично все вижу и понимаю, потому что сам я живу без достатков и претерпеваю лишения… Деньги тебе нужны, говори мне прямо?

— Помилуйте, Николай Хрисанфович, кому по нынешним временам деньги не нужны? Все мы нуждаемся…

— За откровенность— спасибо!

— Какая же это откровенность, — изумляется собеседник:— это просто так, к слову сказано…

— Все равно— спасибо! И за эту самую откровенность я тебе денег дам. Говори, сколько тебе надо?

— Что вы, что вы, Николай Хрисанфович, зачем я у вас деньги стану брать! Не надо, не надо…

— Нишкни! Бери, если тебе, дураку, дают…

— Да с какой же это стати?!.

— Молчать! Получай и прячь.

Таким образом и другому, и третьему, навяжет он свои заработанные крохи и остается в конце концов без гроша. Недобросовестные люди пользовались его характером и жестоко его обирали, что, впрочем, не остерегало его от них, и он охотно поддерживал с ними дружбу.

Как все «великие» люди, Рыбаков имел свои маленькие слабости, впрочем, невыгодные для него самого и безобидные для всех остальных: выпить лишнюю чарку водки и поврать. Враль он был знаменитый, и его вранье, кажется, признано классическим. Про него существует такая масса анекдотов, что если бы все их собрать да напечатать, то вышла бы объемистая книга, по своему содержанию нисколько не уступившая бы популярному барону Мюнхгаузену, имя которого стало европейским синонимом…

После отъезда Мартынова, как я уже говорил, на меня снова напала тоска и не покидала долгое время. Рыбаков обратил внимание на мое удрученное состояние духа и спросил:

— Чего это ты точно не в своей тарелке?

— Скучно.

— Почему же это тебе скучно?

— Так…

— Так только галки летают! Ты не финти, а говори толком и обстоятельно…

— Я оторван от дому, от родных, от товарищей, здесь никого нет близкого, все чуждо и постыло…

— А ты, дурень, в кислоту-то не ударяйся! Подбодрись да расхаживай фертом…

— Не для чего?

— А не то женись, это иногда помогает… Вдвоем-то веселее… право-слово, женись…

— На ком?

— Мало на свете баб существует, что ли? Сколько угодно дур найдется… Да не хочешь ли я тебе свою свояченицу присватаю?

— Ну, где мне жениться, я еще так молод…

— Молот, молот!— передразнил меня Рыбаков и скаламбурил:— молот-то в кузнице, а ты человек, как человек… Нет, в самом деле, женись ты на моей Варюше, чего она в девках сидит, давно бы пора ей семьей обзавестись… Вот после репетиции пройдемся-ка ко мне…

— Ну, какой я жених, Николай Хрисанфович…

— Экий ты не сговорчивый, уж коли сказал женю, так непременно женю, без этого дело не обойдется…

**\*\*\***

После репетиции Рыбаков увел меня к себе почти силой. Переступив порог квартиры, он своим зычным голосом крикнул:

— Жена, Павлина Герасимовна, припасай водки!

— Ну, чего ты орешь! — послышался из соседней комнаты голос жены, привыкшей таким образом усовещивать мужа.

— Водки, говорю я! Поздравлять нареченных будем…

— Николай Хрисанфович! — шепнул я ему: — как же поздравлять-то, ни невеста меня, ни я ее, еще не видали…

— Чего тут видеть, все на один манер скроены… Ты, брать, не шебарши, а повинуйся…

В этот визит я познакомился с его свояченицей, Варварой Герасимовной, которая произвела на меня очень хорошее впечатление и своим характером расположила в свою пользу. В Елизаветграде я сделал ей предложение, а в Николаеве в начале ноября женился.

Вот каким анекдотическим образом я сделался семьянином. Теперь кстати приведу несколько забавных фактов из жизни Николая Хрисанфовича, совершившихся на моих глазах.

Павлина Герасимовна Рыбакова, отлично знавшая неукротимо добрый нрав своего супруга, отбирала от Николая Хрисанфовича все деньги, какие только у него случались. Иногда даже вместе с ним ходила получать его жалованье и зорко следила за тем, чтобы он не брал от антрепренера «в счет будущей получки». К этому принудила ее безалаберная натура мужа, который, благодаря своей артистической беззаботности, очень часто заставлял семью терпеть нужду и лишения. Поэтому, когда деньги попадали в руки Павлины Герасимовны, Рыбаков превращался сам в нуждающегося человека и выпрашивал у нее целковые на карманные расходы. Но иногда, не довольствуясь рублем, он прибегал к различным замысловатым обманам и под разными благовидными предлогами выманивал большую сумму. Хотя эти обманы и не были редкостью для Рыбаковой, но, тем не менее, они ему часто удавались. Об одном из таких я и хочу рассказать.

Однажды Рыбаков говорит своей жене:

— Как ты думаешь, готов мой жилет или нет?

— Какой жилет? — изумляется та.

— Да вот тот, темный, высокий…

— Какой такой? В первый раз слышу…

— Как в первый? Да разве я тебе не говорил, что на той неделе я себе новый жилет заказал для бенефиса?..

— Ничего не говорил…

— Да не может быть! Ты верно забыла…

— Никогда ничего не забываю…

— Удивительно!.. — пожимает плечами Николай Хрисанфович и ласково прибавляет:— дай-ка мне пять рублей, я пойду возьму его, наверное давно готов…

— Не врешь ли ты, — подозрительно вглядывается Павлина Герасимовна в супруга, который храбро выдерживает пристальный взгляд, не моргнувши глазом.

— Вот тебе раз!— хладнокровно замечает он и ссылается на меня:— вот и Саша видел, как я с портным торговался. Он все время на семи рублях стоял, а я больше пяти не давал… Саша, ведь при тебе я жилет заказывал?

— Не помню что-то, — конфужусь я, — кажется, без меня…

— Неужели забыл? Еще в это время ты, кажется, в углу уборной на парикмахерском столе сидел и роль учил?

— Не другой ли кто был?..

— А, может быть, кто и другой… ну, да это все равно, одним словом у меня свидетель имеется… Ну, дай ты мне, пожалуйста, пятерку… Как-то не ловко — жилет готовь, а я не иду за ним.

— Промотаешь…

— Ну, вот тебе раз! Если хочешь, я с Сашей пойду: он будет благородным свидетелем…

Получив деньги, Рыбаков позвал меня с собой к портному. Отправились. Но, дойдя до первого трактира, завернули в его гостеприимное помещение. Я было стал удерживать его.

— Не хорошо, говорю, — ведь мы к портному пошли…

— Неужели ты принимаешь меня за дурака, который жилет себе заказывает?

— Истратишься, а жена будет сердиться…

— Не твое дело! Я умею с ней разговаривать…

Пробыли мы с ним в трактире часа два и израсходовали

три рубля. Возвращаемся домой, уже несколько навеселе. Павлина Герасимовна встречаешь его вопросом:

— А жилет принес?

— Нет, портного не застали дома…

— А деньги целы?..

— Почти… Ах, если б ты знала, какое с нами несчастье случилось.

— Что такое?

— Только что вышел я с Сашей от портного, как нападают на нас два замаскированных разбойника. Выхватывают у меня пятерку, себе берут три, а мне оставляют два рубля. Вот тебе и сдача, а кричать мы никак не могли, потому что они зажали нам рты и к виску пистолеты приставили.

Жена по обыкновению махнула рукой и прекратила дальнейшие расспросы.

Когда Рыбаков объявил Зелинскому, что ему нужен второй бенефис для того, чтобы справить пятидесятилетий юбилей своей артистической деятельности, антрепренер возразил:

— Уж не с ума ли ты дошел, Николай Хрисанфович? Да разве есть пятьдесят лет, как ты играешь?

— Ну, и дурак же ты!— ответил Рыбаков. — Разве доживу я до действительная юбилея? Надо раньше его справить… Двадцатипятилетние то я уж сколько раз справлял, и всегда было очень весело…

Как-то перед спектаклем разговорились актеры про казенные театры. Разговор был продолжительный и спорный.

— А отчего вы, Николай Хрисанфович, не попробуете на императорской сцене продебютировать? — спросил Рыбакова кто-то.

— Я уж почти дебютировал, — ответил Рыбаков таким тоном, после которого непременно должно было следовать вранье.

— Как так почти?

— А так. Донес кто-то великому князю Михаилу Павловичу, что существую я в провинции и всем трагикам нос утираю. Вот он обрадовался и выписал меня в Петербург. Приезжаю я с курьером и прямо во дворец. «А, это ты», говорит великий князь. «Да, отвечаю, я». «Вот молодец, говорит, что приехал, а я думал, что закапризничаешь». А я отвечаю: «никогда, ваше высочество, не капризничаю».

Рыбаков перевел дух и гордо произнес:

— Вот какой мне прием был, даже теперь слеза донимает!..

— Ну, а дальше-то что? — приставали к рассказчику.

— Дальше-то мне говорит Михаил Павлович: «ты будешь служить у нас, но должен предупредить тебя, что Каратыгин очень завистлив и будет интриговать». А я отвечаю: «ничего, если будет много шебаршить— побью». Потом и говорит: «он будет стараться не допускать тебя до дебюта, ты как-нибудь подкрепись и не пей до первого выхода, а потом валяй, как тебе будет угодно». Я пообещал, пошел в гостиницу, остановился в ней и стал роль зубрить. Зубрил, зубрил, выпить страх захотелось, но я креплюсь. Вот пообедал и все креплюсь. На другой день тоже креплюсь, а к вечеру стал дьявол меня соблазнять.

— Каким образом?

— Вижу вдруг я: в печке штоф водки дрыгает, то покажется, то опять вверх поднимется, и пищит какой-то жиденький голосишко: «выпей, выпей, выпей». Крепился, крепился, не стерпел. Поймал этот штоф и выпил. Приходят звать на репетицию, а я еле языком шевелю, ну, конечно, доложили Михаилу Павловичу. «Жаль, сказал он, Рыбакова, да ничего не поделаешь; а все это штуки Каратыгина». Меня отправили на казенный счет обратно в провинцию, а Каратыгина за наваждение на меня нечистой силы посадили на месяц под арест… Вот так мое поступление и не состоялось…

Нужно ли прибавлять, как во все время его рассказа присутствовавшие еле удерживались от смеха, чтобы не рассердить Николая Хрисанфовича, не любившего недоверия к своим словам, и каким хохотом они разразились в конце-концов. На что Рыбаков только и крикнул:

— Дурачье! Побывали бы в моей шкуре, так не до смеху бы вам было…

Как-то участвует Николай Хрисанфович в драме Лажечникова «Опричник». Он играл царя Грозного. В некоторых сценах он так увлекался, что, забыв совершенно про существование суфлера, делал незаметно для себя громадные вставки из «Бориса Годунова» Пушкина.

— Вы какой-то винегрет из роли делаете, — замечают ему.

— Нет-с, жарю по пьесе…

— Помилуйте, в пьесе и намека на то нет, о чем вы разговаривали…

— Грозного я наизусть знаю, дословно его играю…

— Вы целые монологи из «Бориса Годунова» читали.

— А «Годунова» кто сочинил? — быстро нашелся Рыбаков.

— Пушкин.

— А кто «Опричника» написал?

— Лажечников.

— Что же, по твоему, Пушкин-то не поважнее Лажечникова?!

Дальше спорить с ним было нельзя.

Антрепренер Азбукин, у которого служил Рыбаков, поехал на ярмарку и купил там пьесу Н. Полевого «Уголино». Возвратясь к себе, он принес ее на репетицию и похвастался актерам своим ценным приобретением.

— Она мне даст роскошные сборы, — сказал Азбукин, — только жаль, что вскоре ее поставить нельзя.

— Почему?— спросил Рыбаков.

— Костюмная. Старинные одеяния нужны…

— Дай-ка ты мне ее рассмотреть, — сказал Николай Хрисанфович, отбирая у Азбукина драму.

— Да уж верно… действие происходить в Италии, во время какой-то борьбы гвельфов и гибелинов…

— Ну, и врешь! — торжественно произнес Рыбаков. — Вовсе не в Италии, а в Петербурге, и не в старину, а в наше время…

— Как так?— изумился Азбукин открытию трагика.

— А вот как! Читай-ка, что внизу написано: С. -Петербург, 1839 года.

— Да ведь это год и место отпечатания книги.

— Это не твое дело. Ремарка есть, и ты не повинен… Пьеса современная и костюмы, значит, современные. Так и ставь, без всяких рассуждений…

**IX**

В городе Николаеве. — Бенкендорф. — Моя антреприза на его средства. — Антрепренер Жураховский и Елизаветградский театр. — Судбище с Жураховским. — Неприятности с Бенкендорфом. — Служба в Одессе и Кишиневе. — М.А. Максимов. — Скандал на сцене и в партере. — Отъезд в Ставрополь к Зелинскому. — Антрепренеры сороковых годов. — Первое жалованье П.А. Стрепетовой.

Женившись, я набрался некоторой солидности и стал считать себя установившимся на твердой почве. Зелинский мною был очень доволен и, во внимание к моему усердию и серьезному отношению к делу, сделал крупную прибавку. Это было в городе Николаеве, тогда густо населенном и имевшем большое портовое значение.

В Николаеве проживал в то время некто Бенкендорф, по слухам, очень богатый господин. Он был неравнодушен к одной из актрис нашей труппы, а именно к А.Н. Колумб, которая хотя и была однофамилицей великого человека, открывшая Америку, но из ряда полезностей не выдавалась и новой Америки за театральными кулисами не открывала.

Когда Зелинский объявил, что посещает Николаев в последний раз, так как им снят ставропольский театр, и он должен уезжать туда совсем, Бенкендорф зазвал меня в свободную минуту к себе и предложил стать во главе театрального предприятия в Николаеве, но с тем, чтобы я непременно убедил Колумб нарушить контракт с Зелинским, причем обусловленную неустойку как за нее, так и за меня он взялся выплатить нашему антрепренеру самолично.

— Я. дам вам заимообразно нужную для дела сумму, — сказал он, — а вы распоряжайтесь ею, как вам будет угодно. В ваши дела я соваться не буду, но вы со временем, когда с моей легкой руки разживетесь, возвратите долг. Итак, дай вам Бог сделаться известным и богатым антрепренером.

Такие выгодные условия меня соблазнили, и я, сговорившись с Колумб, отказался от дальнейшей службы у Зелинского, который, к слову сказать, на нас не рассердился, разошелся с нами по-товарищески и, кажется, искренно желал мне успехов на новом, антрепренерском поприще.

— Я против вас, господа, ничего не имею, — сказал он в заключение и подобрал меткую пословицу: — рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.

Набрал я труппу и распахнул врата храма Мельпомены. Благодаря участию Бенкендорфа, муссировавшего мои спектакли, дела пошли очень хорошо, но когда почувствовалось колебание сборов, я воспользовался примером Зелинского и совершил несколько поездок в Полтаву и Екатеринославль.

Во время своих путешествий узнаю, что в Елизаветраде предстоит сборище войска. В это время, по моим соображениям, театр тамошний должен был делать блестящие сборы. Не теряя ни минуты времени, отправляюсь в Елизаветград с целью овладеть местным театром, но, увы! он оказался уже в руках севастопольского антрепренера Жураховского. Это, однако, меня не разочаровало окончательно: я задумал побывать у Жураховского и предложить ему свои услуги в качестве компаньона. Он согласился. Мы покончили на том, что соединим обе труппы наши и будем играть вместе, причем и весь доход станем делить по ровной половине. Заключили между собой контракт, назначили сроки и порешили насчет репертуара.

Тотчас же послал я жене своей, находившейся с труппой в Екатеринославле, денежный пакет на проезд всех служащих к месту назначения. Но так как в то время железных дорог еще не существовало, то письмо мое шло неимоверно долго, что-то около трех недель, и, кроме этого, почему-то сердившийся на меня Екатеринославский почтмейстер умышленно продержал его в своей конторе еще с неделю, благодаря чему я оказался в критическом положении: условные сроки подступали, приезд труппы не предвиделся, а Жураховский приставал ко мне с претензиями. Я посылал эстафету за эстафетой, но никаких ответов не получал. Недоумение было полнейшее. Жураховский, понадеявшийся на комплект моей труппы, из своей выписал только главный персонал, остальных оставил продолжать спектакли в Севастополе. Выписанных персонажей его, разумеется, было не достаточно для театра, а моих не было, и сидели мы сложа руки, не зная, за что ухватиться, что предпринять. Наконец, почти к самому разъезду войск, прибыла моя труппа, и мы кое-как успели поставить несколько спектаклей. Вместо ожидаемых больших барышей оказались крупные убытки. В этой неудаче Жураховский, обвинив всецело меня, захватил себе безраздельно все сборы и, кроме того, подал на меня жалобу главнокомандующему графу, Остен-Саксену, очень мило разыгравшему роль судьи, которая, как оказалось, ему очень нравилась и тешила его бесконечно. Не входя в подробности дела и не выслушивая оправданий, он решил, что контракт мною нарушен самопроизвольно (даже чуть ли не с намерением), почему все мое имущество должно подлежать описи, дабы вознаградить убытки истца, уже правого тем, что он первым обратился к посредничеству высокопревосходительного судьи…

Все, что я имел, даже то, что было нажито мною до моей злосчастной антрепризы, поступило в продажу с молотка. Оставшись яко наг, яко благ, я принужден был распустить труппу и возвратиться в Николаев, где в театре оставался еще кое-какой хлам, за который можно было выручить несколько целковых и пропитаться ими до места.

Придет беда— раскрывай ворота. Беда идет и за собой другую беду ведет. Не успел я вздохнуть и опомниться от Елизаветградской катастрофы, как в Николаеве пришлось встретиться тотчас же по приезде с новою неприятностью. Бенкендорф, для которого Колумб уже потеряла свое очарование, стал наступать на меня с требованием тех денег, которыми он снабдил меня на театральное предприятие.

— Так и так, объясняю ему, потерпел крушение. Повремените. Сейчас ломаной копейкой не обладаю, поправлюсь— выплачу… Честное слово, в долгу не останусь!…

— Кто вас просил соваться в товарищество с Жураховским, — заметил он мне с раздражением, — у вас и так повсюду были роскошные дела.

— Погнался за большим и потерял маленькое!

— Послужит вам это наукой!… Вы, пожалуйста, озаботьтесь относительно денег, теперь я в них сам крайне нуждаюсь…

— Хорошо-с! Я поеду куда-нибудь служить и даю клятвенное обещание высылать вам половину моего содержания до полной уплаты долга…

— Чтоб не пришлось только ждать долго, — сострил Бенкендорф, и мы с ним расстались. Впоследствии я выслал ему деньги, но он их возвратил мне при любезном письме, в котором сознавался, что в наше последнее свидание он чувствовал себя не совсем здоровым, почему и позволил себе грубый тон, порожденный болезненною раздражительностью. В конце он приписал, что в моих деньгах не нуждается и никакого долга за мной не считает.

Через несколько дней после моего прибытия в Николаев, туда же приехал из Одессы Михаил Андреевич Максимов специально затем, чтобы пригласить меня на службу в труппу князя Гагарина. Я с радостью согласился и переправился в Одессу.

Князь Гагарин тоже не довольствовался одним городом, а делал периодические переезды в Кишинев. Дела его были очень не дурны, артистам жалованье выплачивал не скупо, впрочем, и антрепренерствовал-то он не из-за барышей, а просто из любви к искусству. В старое время таких меценатов было много. Баре не гнушались инициативой театрального дела, и провинциальная сцена тогда выглядывала как-то благороднее, порядочнее, опрятнее. Это были сороковые года, а если мы пойдем немного дальше и возьмем двадцатые— десятые года, то увидим, что антрепренеров-коммерсантов не существовало тогда вовсе, что театром тогда не эксплуатировали, что сцена тогда для нашего помещичьего барства была шалостью, развлечением, блажью. Да и настоящих, то есть профессиональных, актеров тогда не существовало: труппы состояли почти исключительно из крепостных, которых не только можно, но и должно признать родоначальниками провинциальных актеров. Меценаты-помещики, усматривавшие о своих крепостных дарование, очень часто давали им вольную и благословляли на актерский путь. С этого и начинается история провинциального театра…

В Кишиневе у меня с Максимовым, главным режиссером труппы князя Гагарина, произошло крупное недоразумение, послужившее причиной моего ухода из одесского театра. Максимов никак не мог примириться с тем, что публика симпатизировала мне больше, нежели ему. Он постоянно злился на это и волновался, придумывая какие-нибудь новые интриги и подводя меня под различные каверзы. Не в осуждение Михаила Андреевича я упоминаю это, а потому, чтобы быть последовательным и не пропускать фактических сторон моей театральной жизни. Прежде всего уж потому бы я не был судьей действий Максимова, что сам актер, сам сжился с кулисами и отлично понимаю, какое у актера самолюбие, развитое до нестерпимых пределов, в особенности же у актеров, не щедро наделенных талантом, а Михаил Андреевич именно к таким и принадлежал.

Впоследствии с Максимовым меня сталкивала судьба на сцене Харьковского и Петербургского Александринского театра, и мы были с ним в хороших товарищеских отношениях. Это тот самый Максимов, который в отличие от Максимова 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го, служивших одновременно на Александринской сцене, назывался на афишах М. Максимовым.

Наша ссора в Кишиневе произошла из-за пустяков. В водевиле «Купеческая дочка или чиновник 14-го класса», Максимов требовал сокращения моей роли. В другое время, может быть, я и согласился бы, но перед открытием занавеса никаких купюр делать не позволил. Разговор у нас завязался крупный и окончился довольно несдержанной перебранкой, которая достигла до слуха зрителей. Не понимая, в чем дело, но тревожась закулисным шумом, некоторые из публики обратились за разъяснением к сторожу.

— Что это у вас там такое?

— Да чему там быть? — ответил сторож, любивший иногда пофилософствовать: — уж коли такой крик, так, стало быть, драка, а, может быть, и пожар.

По обыкновенно, нечаянно пророненное слово пожар облетело с быстротою молнии весь театр, и поднялась суматоха. Все бросились к выходу, началась давка, в воздухе повис крик, писк, слезы. И, не смотря на заявление со сцены, что все обстоит благополучно, публика поспешила оставить театр, и на представление водевиля не осталось ни души…

На другой день рано утром приехал в театр полицеймейстер Федоров, собрал всех нас, нашел виновников происшествия — меня и Максимова, и велел ехать извиняться во все семейные дома, которые были накануне в театре. Он вручил нам список адресов, и мы отправились на наемном извозчике визитировать театралов. Будучи в размолвке, мы уместились на дрожках так: Максимов отвернулся вправо, я— влево, и во все время наших разъездов не проронили друг с другом ни слова. По этому поводу очень метко сострил наш возница:

— Чего это вы так сидите, — словно орел на печати?

Это ловкое сопостановление сердитых седоков с двуглавым орлом так рассмешило нас, что мы повернулись друг к другу и заключили мир, продолжавшийся до самой смерти Михаила Андреевича.

Однако, принудительные визиты и извинения меня обидели так, что я не хотел более играть в Кишиневе. Написал письмо в Ставрополь к Зелинскому, который через проезжего купца прислал мне денег на дорогу, и я отправился к нему.

При переезде из Керчи в Екатеринодар, проезжая через Перекопский перешеек, лежащий между Азовским и Черным морями, я со всем своим семейством чуть не погиб. Ветер, вьюга невообразимые. Моя малютка, дочь Анна, перепуганная этим страшным путешествием, первая вспомнила о Всевышнем и перекрестилась… Когда добрались мы до берега, перевозчик отказался наотрез взять с меня условленную сумму за перевоз.

— Почему ты отказываешься от денег? — удивился я.

— Не возьму и не возьму, — заладил он одно слово.

— С какой же радости ты будешь всех перевозить даром?

— Не всех, а только вас…

— Нас? Почему?

— Потому что мы должны были бы погибнуть, уж никак бы нам не спастись, да вот молитва вашего ребеночка нам помогла. Кабы не она, не видать бы нам света Божьего…

Вся остальная дорога была благополучна, и мы спокойно добрались до Ставрополя…

Кстати упомяну имена нескольких антрепренеров того времени: по западному краю разъезжал Штейн, у которого была большая, но не выдающаяся труппа; Ромны, Кременчуг, Ставрополь, Кавказ и несколько ярмарок были в руках Зелинского; в нескольких центральных губерниях антрепренерствовал Азбукин; Нижний-Новгород и Макарьевская ярмарка принадлежали Смолькову, нажившему от театров очень приличное состояние; Жураховский был в Севастополе; в Одессе — Иван Лукич Мочалов, а вслед за ним князь Гагарин; на Волге, в Костроме и Твери— Н.И. Иванов; в Ярославле — Смирнов. Все эти антрепренеры были людьми денежными, жалованье актерам выплачивали честно и аккуратно. Гонорар в те времена был не велик, а в сравнении с нынешним так и просто мизерный, но актеры тогда такой вопиющей нужды даже не видали, какую испытывают теперь.

Для характеристики тогдашних жалований, расскажу эпизод из моей поездки на гастроли в Рыбинск, уже с вторичной службы на императорской сцене.

Приехав в Рыбинск за несколько дней раньше первого своего выхода, я попал на какой-то обыденный спектакль, в конце которого шел водевиль Куликова: «Средство выгонять волокита». Роль горничной Лизы очень мило играла какая-то юная актриса.

— Кто это играет Лизу? — спросил я рядом сидевшего со мной антрепренера Смирнова.

— Стрепетова, — ответил он.

— С воли?

— Нет, ее тетка и мать у меня актрисами служат…

— А ведь она очень недурно играет?

— Совсем хорошо.

— Какое же вы ей жалованье платите?

— У, батенька, лучше и не спрашивайте! — со вздохом произнес Смирнов. — Все-то нынче норовят денежки получать…

— Помилуйте, кто же станет даром работать.

— Работали-с! Бывало, если родители служат, так дети-то все безвозмездно чего хочешь тебе наизображают…

— То— дети, а это настоящая актриса… Что же рублей пятьдесят ей даете?

— Эк тоже хватили! Семь целковых…

Вот какое жалованье получала в молодости наша талантливая актриса Полина Антипьевна Стрепетова.

Это служит достаточным образцом размеров вознаграждения за артистический труд еще в недалекое от нас время. Нынешние актеры, не имеющие ни школы, ни традиции, засмеяли бы такого антрепренера, который стал бы отсчитывать им жалованье десятками рублей, — они привыкли оценивать свое непризнанное дарование прямо сотнями и чуть-чуть не тысячами. Вот в этом-то и заключается падение театров в провинции, обмеление талантов и побеги антрепренеров…

**X**

Служба в Ставрополе. — Харьков. — Д.Я. Петровский. — Харьковская труппа. — Режиссер Милославский. — Анекдоты про него. — Поездка в Чугуев. — Гастроли Н.В. Самойловой. — Актер Кучеров. — Старый знакомый Прохоров. — Гастроли В.В. Самойлова, В.И. Живокини. — К.Т. Соленик, известный провинциальный актер. — Анекдоты про него. — Приезд в Харьков Борщова. — Вторичное поступление на Петербургскую императорскую сцену.

В первый раз перед ставропольской публикой выступил я в роли Хлестакова. Публика приняла меня радушно, и за мной навсегда в труппе Зелинского осталось амплуа jeune comique. В этот раз я прослужил у Зелинского четыре года подряд, все время без перерыва получая жалованье и имея два бенефиса в году, что в общем составляло солидную сумму, так как бенефисы бывали всегда почти полны и, кроме того, от богатых театралов перепадала премия[[7]](http://lib.ololo.cc/b/193622/read" \l "n_7" \o "   Плата за билет больше его стоимости.   ) и очень часто ценные подарки. Служить долгое время у одного антрепренера я предпочитал потому, что жизнь на одном месте или в одном районе (из Ставрополя мы иногда ездили на ярмарки и в соседние города) напоминала оседлость, свой очаг, родное гнездышко… Но, как ни было хорошо в Ставрополе, а, все-таки, долго заживаться в нем не было никакого расчета. Публике я пригляделся, даже, может быть, наскучил (провинциалы-театралы любят разнообразие), мне публика тоже пригляделась, и я стал заметно портиться: появилась слишком большая развязность, смелость, никакой робости не стал ощущать перед ставропольцами, тогда же как перед всякой другой новой публикой эта неуверенность проявлялась бы и заставляла бы меня относиться к себе строже, принудила бы работать и совершенствоваться…

На мое счастье подвернулся благоприятный случай уехать из Ставрополя и перекочевать в любимый мною Харьков, где служба была тоже постоянная, следовательно, и жизнь оседлая, со своим очагом. Я получил очень лестное приглашение от директора харьковского театра, Дмитрия Яковлевича Петровского, который звал меня на место умершего бывшего артиста императорских театров, Дранше, приходившегося каким-то образом родственником В.В. Самойлову. Сперва меня это место смутило, так как Дранше был чудеснейшим комиком и пользовался большим успехом, но, после некоторого раздумья, решил ехать в Харьков. Я задумал отвоевать себе в Харькове самостоятельность и стараться избегать тех пьес, в которых для публики было возможно сравнение меня с покойным комиком.

Мой прощальный бенефис в Ставрополе привлек много публики. Этот вечер никогда не изгладится из моей памяти. Испытывая неподдельную любовь публики, видя ее ко мне расположение, мне вдруг и самому взгрустнулось и жаль стало покидать Ставрополь, в котором я провел четыре года спокойно и хорошо. Что встречу я там? Найдутся ли симпатизирующее люди? Буду ли иметь успех или забьет меня равнодушие харьковцев, которые, впрочем, когда-то относились ко мне хорошо? Но ведь я уже ими, вероятно, забыт; и до и после меня перебывала там масса актеров, упомнить которых у кого же хватит возможности?.. Во все время спектакля мучили меня эти убийственные вопросы, и я был готов отказаться от новой службы; слезы подступали к горлу, и сердце тревожно билось. Это редкие и дорогие минуты в жизни актера. Юбилейные чествования и публичные прощания всегда вызывают эти мучительные, но вместе с тем и бесконечно сладостные чувства… Во время самого трогательного прощания в последнем антракте, из литерной ложи кто-то бросил к мои м ногам кошелек с деньгами. Я отступил от них и смутился. Из публики послышался голос:

— На дорогу!

Я поднял кошелек и прослезился. Таких откровенных подарков мне получать еще не случалось. В сороковых годах о бросании денег на сцену не было слышно; это напоминало первые годы русского драматического театра, относящееся к царствованию Екатерины Великой…

Первым моим дебютом в Харькове был «Стряпчий под столом». Публикой принят я был настолько хорошо, что перед вторым выходом я уже не ощущал в себе нисколько робости. Для дебютанта это имеет громадное значение: иногда робость так забивает новичка, что у него язык к гортани прилипает и каждое слово им выжимается из себя так, как будто бы он не знает своей роли и, не уяснив характера изображаемого лица, играет без всякой типичности, без всякого смысла. Это первое впечатление обыкновенно долго не изглаживается из памяти публики, и такому актеру она всегда будет не доверять. Публика не чутка: явится перед нею какая-нибудь бездарность, не знающая меры своему нахальству, она сразу расположится к ней и хотя потом убедится в своей судейской близорукости, но первое время будет рукоплескать и провозглашать эту бездарность гением. За кулисами такие недоразумения случаются часто…

Тогдашний харьковский генерал-губернатор Кокошкин был страстный театрал и покровитель искусств. Почти на каждом спектакле он присутствовал и был строгим ценителем актеров, которые при нем сдерживали себя и не позволяли излюбленных «отсебятин» и шутовских выходок. Все прилаживались к его вкусу и на перебой старались заслужить его лестную похвалу. Таким образом благотворное влияние Кокошкина на сцену было неизмеримо: таланты находили поддержку и имели возможность развиваться, контингента исполнителей образовывался исключительно из людей способных, а бездарности, как-нибудь нечаянно попавшие на харьковскую сцену, быстро уясняли свою бесполезность и незамеченными испарялись в другие, более удобные для них провинции. Во все время губернаторства Кокошкина харьковская труппа славилась ансамблем, считавшимся равным казенным театрам.

В мое время служили в Харькове: Елизавета Николаевна Федорова, артист императорских театров Кравченко, комическая старуха Ладина, Бобров, знаменитый в провинции Карп Трофимович Соленик, Бабанин, Микульская, Гончарова, Пронский (впоследствии поступивший в Александринский театр), Николай Карлович Милославский и, наконец, мой старый и неугомонный сослуживец М.А. Максимов. Гастроливали: Павел Васильевич Васильев, В.В. Самойлов, Н.В. Самойлова, Живокини.

Семья моя с каждым годом увеличивалась; одного жалованья мне стало недостаточно, пришлось «подкармливаться» приватными доходами. Я принялся за преподавание бальных танцев в семейных домах, в пансионах и даже в университете. Это давало мне отличный заработок, и я жил припеваючи. Не без удовольствия вспоминаю то время: это лучшая пора моей жизни…

Режиссером у нас был Милославский, известный своими проделками и находчивостью, часто дерзкою, но всегда остроумною. В памяти театралов и сослуживцев он оставил по себе не одну сотню анекдотов, правда, мало говорящих в его пользу, но верно его обрисовывающих. Для него не существовало затруднений, он все легко преодолевал и постоянно выходил сухим из воды. Он не мог бы похвастаться любовью товарищей, но имел бы право выставить на первый план то удивление его уму и изобретательности, которое он непроизвольно внушал всем и каждому. Николай Карлович вообще был не из конфузливых и никогда ни с кем не стеснялся; с не-театральными людьми держался он барином и так ловко обставлялся, что все считали его богачом и не без удовольствия водили с ним дружбу.

Как-то Петровский рекомендует ему юного дебютанта, местного любителя драматического искусства из купеческих сынков.

— Хорошо! — ответил Милославский, смерив взглядом робкого молодого человека так, что у того поджилки затряслись. — Подебютируйте!.. А играли ли вы когда-нибудь?

— Никогда, — сознался дебютант.

— Это бывает, — иронически заметил режиссер и осведомился: — а в чем бы вы хотели выступить?

— В «Гамлете», — выпалил новичок и сконфузился.

— В хорошенькой рольке!… Ну, хорошо, в «Гамлете» — так в «Гамлете»… Приходите завтра в театр и почитайте его монологи…

На другой день юноша торжественно явился в театр во время репетиции.

— Ну, вот и отлично!— встретил его Николай Карлович. — Пожалуйте на аван-сцену и декламируйте.

Милославский поставил его на место и велел начать чтение. Не успел дебютант произнести пяти стихов, как вдруг пол под ним проваливается, и он оказывается под сценой. Николай Карлович раньше сговорился с машинистом и поставил юношу на условное место с умыслом его провалить. Случилось это в присутствии почти всей труппы.

Оскорбленный и гневный дебютант выбегает из машинной и с угрожающей жестикуляцией направляется к Милославскому.

— Милостивый государь!— говорить на ходу запыхавшийся купеческий отпрыск. — За это ведь…

— Тише — люк!— останавливает его Милославский.

Тот, как змеею ужаленный, отпрыгивает в сторону и опять начинает прерванную фразу:

— Милостивый государь! За это…

— Люк!— снова перебивает его Николай Карлович, указывая на то место, где стоит взволнованный дебютант.

— Ай!— и опять прыжок в сторону. — Милостивый государь! Я вам достался не для…

— Люк! Люк! Осторожнее!…

— Ай!— снова прыжок в сторону.

И так Милославский довел этого горячего поклонника искусства до самого выхода, заставив его проскакать всю сцену при общем смехе актеров.

«Отсебятины» и шалости на сцене были страстью покойного Николая Карловича, не отделявшего, в угоду невзыскательной «райской» публике, классической трагедии от вздорного водевиля. Это было ему непростительно, и тем более, что пользовался он репутацией талантливого артиста.

Помнится мне, как в какой-то раздирательной драме или трагедии Милославскому надлежало умереть. Он и умер, грохнувшись на пол, но так не рассчитано, что пришелся как раз под декорацией, которою следовало сделать чистую перемену[[8]](http://lib.ololo.cc/b/193622/read" \l "n_8" \o "   Чистая перемена — моментальная, без антракта и на глазах публики, перемена декорации.   ).

— Николай Карлович, — шепнул ему из-за кулис его помощник, — занавес нужно спустить…

— Почему? — так же тихо, незаметно для публики, спросил Милославский.

— Вы под чистой переменой лежите.

— Пустяки! — сказал он и, к изумленно публики, воскрес, встал, спокойно перешел на другое место и снова умер, крикнув за кулисы: «давай».

Николай Карлович был неуживчив, характером обладал беспокойным, так что имел много врагов и окружал себя вечными неприятностями. С Петровским у него бывали частые недоразумения, проходившие почти бесследно, но однажды вышла у них такая жестокая ссора, что Петровский наотрез отказался от дальнейших услуг Милославского. Не дослужив сезона, Николай Карлович отправился в Москву. Его режиссерские обязанности были временно поручены одному из актеров. На другой сезон Петровский взял к себе режиссером актера Дмитриева, которого и послал в Москву пополнять труппу.

— Кого знаешь, бери, — вместо напутственного слова сказал ему Петровский, — но только с Милославским не свяжись. Даром служить пойдет — не бери…

Приезжает Дмитриев в Москву, заключил несколько контрактов с актерами и перед самым отъездом встречается с Николаем Карловичем.

— Что делаешь в Москве?— спросил он Дмитриева.

— Для Харькова труппу набираю…

— А! Так это тебя прислал Петровский.

— Меня.

— Ну, так ты-то мне и нужен…

— Не в Харьков ли хочешь? Тю-тю!.. Дмитрий Яковлевич не велел мне ни под каким видом с тобой возжаться…

— Дурак ты, как я погляжу! Как же не велел, если он мне сегодня телеграмму прислал, чтобы я разыскал его поверенного и покончил с ним…

— Врешь!

— Поедем ко мне, и я тебе покажу ее…

— Сейчас не могу, а к вечеру буду. Ожидай!

— Хорошо! Кстати и контракт с собой прихвати.

Милославский вручил ему свой адрес, а сам отправился домой и написал на старой телеграфной бланке себе приглашение от имени Петровского. Когда вечером явился к нему Дмитриев, Милославский вручил ему депешу; тот наивно поверил ей, вынул из кармана контракт и подписал его,

— Удивительно! — сказал Дмитриев, заключив с Николаем Карловичем условие. — Перед отъездом уж как мне строго наказывал директор, чтобы я тебя остерегался, а теперь вдруг сам с тобой в переписку вступил.

— Есть много, друг Горащо, на свете необъяснимого, — ответил Милославский словами Гамлета.

Через несколько дней двинулись из Москвы в Харьков новые актеры во главе с Дмитриевым и Милославским.

Петровский, встречая в Харькове, у городской заставы, труппу, натыкается на первого Милославского. С ним делается чуть не удар.

— Вот и я!— весело заявил ему Николай Карлович. — Хоть вы и не велели меня брать, но я, все-таки, из сострадания к вам приехал, потому что Харьковский театр без Милославского существовать не может…

Нечего было делать, помирились враги, и остался Николай Карлович служить у Петровского.

В 1854 году, в городе Чугуеве (уездном, Харьковской губернии) был назначен сбор войска. Дмитрий Яковлевич воспользовался этим и выхлопотал себе манеж, в котором устроил сцену и очень вместительный партер. На это время мы покинули Харьков и поселились в Чугуеве. Спектакли были часты и удостаивали их своим посещением великие князья Николай Николаевич и Михаил Николаевич.

В Чугуев приглашена была Петровским на гастроли Надежда Васильевна Самойлова, сделавшаяся в самое короткое время такою любимицею публики, что на спектакли с ее участием не хватало билетов.

После представления водевиля «Бедовая девушка», в котором я играл вместе с Самойловой, их высочества очень лестно отозвались обо мне, а на другой день прислали в театр два ценных подарка: Надежде Васильевне— бриллиантовые серьги, а мне— бриллиантовый перстень. Кроме этого, приказали спросить меня, не желаю ли я поступить на сцену Александринского театра. Я, разумеется, с необъяснимою радостью ответил утвердительно…

Войска разошлись. Мы перебрались в Харьков, вместе с нами и Самойлова для продолжения гастролей. В Харькове ее успех был тоже огромный…

Из пребывания Надежды Васильевны в Харькове помнится мне один анекдот. Шла «Дочь Второго Полка», ансамбль был изумительный, роли распределены были превосходно, словом, прошла пьеса, как говорится, «на ура!». Губернатор велел Петровскому изъявить благодарность всем участвовавшим, что исполнить тот и не замедлил по отношении к солистам. Небольшой актер Кучеров, принимавший участие в хоре, подходит к директору и обиженным голосом говорить:

— Дмитрий Яковлевич, а нам-то что же вы ничего не скажете? Ведь мы тоже пахали…

— Нет, вы орали, — соткровенничал Петровский при дружном хохоте окружающих.

В это же время прибыль в Харьков мой старый сослуживец по Александринскому театру, Прохоров, спившийся, оборвавшийся, совершенно опустившийся. Общими усилиями стали помогать ему опериться, но, увы! с ним ничего нельзя было поделать. Петровский принял его к себе в труппу, но он недолго продержался в ней, благодаря своей пагубной страсти, доводившей его до беспамятства. Любимым его занятием в пьяном виде сделалось кормление уличных собак. Накупит хлеба и раздает его частями собакам, которые постоянно окружали его стаями, стоило только показаться ему на улице. Долго ли он после этого жил и где умер, я не знаю, да и вряд ли кто другой знает. Так бесследно и погиб этот способный актер…

После Надежды Васильевны в Харьков приехал ее знаменитый брат Василий Васильевич Самойлов. Его успех сравнительно был слабее, но за то разовая плата превышала гонорар сестры: он получал сто рублей за каждый спектакль. После Самойлова, державшегося большим барином, приехал не менее его знаменитый Василий Игнатьевич Живокини, полнейший контраст Василия Васильевича. Простой, невзыскательный, обходительный, любезный…

Я только один раз видел Живокини рассерженным, но и то так, что он не позволил себе ничего оскорбительная по адресу его рассердившего, а ограничился одним тихим замечанием. Другой бы гастролер, будучи на его месте, такую бы бурю поднял, что всем бы не поздоровилось, всем бы наговорил массу неприятных истин и вообще каждому бы дал почувствовать, что он за персона. «Геркулес, а вы пигмеи; столичная знаменитость, а вы бродячие комедианты». Манера известная…

Вот единственное столкновение Живокини с актером на сцене. Карп Трофимович Соленик, о котором я упоминал выше в перечне харьковской труппы, обладая крупным дарованием и достойно считаясь провинциальною известностью, имел отвратительную привычку— не учить ролей. Бывало, прочтет он свою роль раз-другой и идет смело играть: он передавал ее своими словами, но так, что незнающий хорошо пьесы и не догадается об его импровизации, всегда верной типу, намеченному автором. Разумеется, этому значительно способствовало его солидное образование и богатые умственный способности. Его находчивость и остроумие на сцене заслуживали внимания и выделяли его из толпы актеров-зубрил. Не терпя пауз во время хода пьесы, Соленик в состоянии был говорить хоть час подряд, однако, не удаляясь от сути дела, пока его не перебьет действующее лицо. С одной стороны это не дурно, безостановочные разговоры придают живость действие, но с другой — очень скверно, мешает другим, лишая их возможности рельефнее оттенить свою роль, а в особенности тем, кто знает свои слова по пьесе наизусть, тех он просто сбивал.

На репетиции водевиля «В тихом омуте черти водятся», в котором Живокини играл полковника Незацепина, а Соленик — Весельева, последний, по своему обыкновению, так разговорился, что Василий Игнатьевич замолчал совсем и с удивительным хладнокровием стал наблюдать за увлекшимся актером. Живокини прекомично сложил на груди руки крестом и долго смотрел в упор Соленику.

Наконец Карп Трофимович опомнился, перебил сам себя и спросил терпеливого гастролера:

— Что же вы не говорите, Василий Игнатьевич?

— Ожидаю, когда вы замолчите!

— Так нельзя-с!— сердито заметил Соленик.

— Чего это нельзя?

— Да заставлять меня одного все время разговаривать, глотка сохнет.

— Скажите, пожалуйста, откуда все эти рассуждения вы берете? Я много раз играл этот водевиль со Щепкиным и тот никогда ничего подобного не говорил, чего наговорили вы.

— Значить, он с пропусками играл, — не задумываясь, ответил Соленик, — а я по пьесе валяю.

— Помилуйте-с, в пьесе этого нет: я пьесу наизусть знаю…

— Нет, есть…

— А я вам говорю, нет!… Вот что: если вам угодно играть со мной, то потрудитесь роль выучить, в противном же случай передайте ее другому.

Присутствовавший тут же Петровский приостановил репетицию, отобрал от Соленика роль и передал ее Боброву.

— Ну, и слава Богу!— сказал Карп Трофимович, ни чуть не обидевшись этим обстоятельством. — А то бы на спектакле Живокини замучил бы меня своим упорным молчанием…

А вот еще образчик импровизаторской способности Соленика.

Шел водевиль «Зятюшка», в котором он играл заглавную роль. Есть сцена, когда он выходить усмирять рассвирепевшего извозчика, на котором приехала к нему теща. Возвращаясь обратно после объяснения, зятюшка появляется в помятом цилиндре.

— Что с вами, зятюшка? — спрашивает его по ходу пьесы теща, которую изображала комическая старуха Ладина.

— Маменька, — отвечает он ей, — не связывайтесь в другой раз с извозчиком: посмотрите, что он сделал с моей шляпой.

— Утешьтесь, зятюшка, я вам куплю новую шляпу, поярковую, — -следовало сказать Ладиной, а она переврала последнее слово и сказала «фаянсовую».

Публика разразилась страшным хохотом, бывшие на сцене— тоже, кроме Соленика, который как ни в чем не бывало, точно по пьесе, вышел на авансцену и прочел целый монолог на тему о «фаянсовой шляпе».

— А ведь маменька права, — сказал он, — что фаянсовая шляпа с успехом заменить цилиндр. Фаянсовая шляпа имеет массу преимуществ, и отчего на самом деле не изобретут таковой! Во-первых, она не боялась бы дождя, во-вторых, не требовала бы ремонту, в-третьих, всегда бы была чиста. Положим, ее хрупкость требовала бы большой осторожности, но это отлично, мы стали бы ее класть на безопасные места, и ее долговечность таким образом была бы гарантирована. Мы бы не ставили ее на стулья, как делаем с этими шляпами, на которые садятся и мнут, да и извозчики обходились бы с нами деликатнее: разбей-ка он на мне фаянсовую шляпу, я его, каналью, в квартал с поличным, ну, а с смятым цилиндром как его притянуть? Скажет: «таков и был». Чем я докажу его свежесть?.. Итак, маменька, закажите-ка на заводе мне фаянсовую шляпу, — я быстро введу ее во всеобщее употребление, и ваше имя мудрым изобретением будет прославлено; благодарные потомки воздвигнут вам памятники и монументы.

В это время все, что называется, «отхохотались», и водевиль пошел своим чередом.

Теперь о переходе моем на казенную сцену.

Прихожу обедать к Петровскому, у которого я бывал часто для «преферанса» (я был его любимым партнером), и застаю некоторых из наших театральных. Дмитрий Яковлевич увел меня в свой кабинет и таинственно сказал:

— К сегодняшнему спектаклю ты хорошенько приготовься.

— Что так?

— Тебя будет смотреть петербургское театральное начальство…

— Кто?.

— Управляющей конторой императорских театров Павел Михайлович Борщов… Мне бы, разумеется, не следовало тебе говорить об этом, ну, да Бог с тобой: я желаю тебе добра!

Тут уж было не до обеда. Поспешно отправился я домой и старательно подготовился к вечеру. Однако, при мысли, что меня будет смотреть такая важная особа, как Борщов, пользовавшийся расположением министра двора графа Адлерберга и поэтому имевший большую силу в театральном Мире, меня одолевала робость. Весь небольшой промежуток от обеда до спектакля мне казался вечностью, и я с нетерпением стал ожидать конца моим душевным терзаниям… Наконец, наступило время моего выхода в водевиле «Утка и стакан воды». Я почувствовал такой страх, о котором ранее и понятия не имел. Помню, как перед выходом на сцену перекрестился, как вышел, но как играл, не помню, я даже публики перед собой не видел, ощущая не вдалеке от себя грозного судью и решителя.

По окончании входит ко мне в уборную Петровский.

— Ступай, — говорит, — на сцену: его превосходительство тебя зовет.

Я вышел.

— Хочешь служить в императорском театре? — спросил меня Борщов, принимая важный и покровительственный тон и говоря прямо на «ты».

— Сочту за честь…

— Ну, еще бы!.. Приходи завтра ко мне часов в двенадцать. Я остановился в Петербургской гостинице.

На другой день он выдал мне 300 рублей подъемных и велел выезжать в столицу.

Распродал я лишнее свое имущество, сыграл прощальный

бенефис, нанял почтовый дилижанс и отправился по направлении к Петербургу.

**XI**

Москва. — Бенефис Садовского. — Первый дебют И.Ф. Горбунова. — Петербург. — Первый выход. — Служба. — Поездки на гастроли. — Трагик Ольридж. — Его участие в моем бенефисе и русская песня, им исполненная. — Анекдот про Садовского. — Поездка в Рыбинск. — Вехтерштейн. — Рыбинский антрепренер Смирнов.

В Москве я сделал себе трехдневный отдых. Все три вечера провел в драматическом театре. Подивился необычайно стройному ансамблю и сборищу талантов. Действительно было что посмотреть и было у кого поучиться. Хотя в те поры и Александринский театр мог щегольнуть кое-чем, но, все-таки, далеко ему было до Москвы.

Был на бенефисе П.М. Садовского и умилялся приему публики, радушно чествовавшей своего любимца. Шла пьеса Владыкина «Образованность». Этот бенефисный спектакль[[9]](http://lib.ololo.cc/b/193622/read" \l "n_9" \o "   16-го ноября 1856г.   ) мне памятен особенно тем, что в «Образованности» выступал первый раз в жизни И.Ф. Горбунов, в том же году поступивший на петербургскую сцену и занявший там одно из видных мест. В Александринском театре он дебютировал в «Ночном» (роль Вани) и в «Охотнике в рекруты» (роль Емельяна) — обе роли ему удались как нельзя лучше, но имя себе он сделал своими знаменитыми народными рассказами, оставшимися без подражания.

В уборной Прова Михайловича я познакомился с дебютантом.

— Теперь вы куда? — спросил меня, между прочим, Садовский.

— В Петербург.

— А вот вам и попутчик, — указал он на Горбунова. — Он тоже в Петербург едет. Дебютировать там будет и, вероятно, останется служить. Малый-то с огоньком…

На другой день я смотрел «Ворону в павлиньих перьях». В театр шел я с предубеждением. В роли маркера Антона Шарова я помнил Мартынова и не ожидал в лице Сергея Васильевича Васильева встретить опасного конкурента моему любимцу, гениальному комику, но с первого же акта я стал в тупик, не зная, кому отдать предпочтете: Мартынову или Васильеву. Оба играли по-своему, но так, что до сих пор я помню малейшие детали и того и другого в этой водевильной роли. Это были маркеры, схваченные прямо из биллиардной скверненького трактира…

Приезжаю в Петербург.

Справляюсь, приехал ли Борщов. Приехал, говорят. Отправляюсь к нему.

— А! Прикатил? Отлично! — встретил он меня. (Такая встреча с его стороны считалась очень любезной и радушной). — Ну, присядь, пожалуй! я сейчас дам тебе писулю к Павлу Степановичу Федорову. Он у нас начальник репертуара и в его ведении дать тебе дебют.

Прихожу к Федорову.

— Ведь вы наш старый?— спросил он меня.

— Да, служил с 1839 по 1843 год.

— И опять к нам вознамерились?

— Да, по приглашению Павла Михайловича Борщова.

— А не по собственному разочарованно провинциальными подмостками?

— Нет!

— Так отчего-ж бы вам и не остаться там?… Впрочем, я напишу записку к режиссеру. Отправьтесь к нему, он назначит вам дебют. Это в его распоряжении.

Отправляюсь к режиссеру, моему школьному товарищу Александру Александровичу Яблочкину, который и завершил своей резолюцией мои мытарства по начальству. Через несколько дней назначен был для моего дебюта «Стряпчий под столом».

Чем больше я служил на сцене, тем большую ощущал к себе недоверчивость. Проявление трусости стало обычным явлением, на этот раз превзошедшим все мои ожидания. Поместившись в отведенной мне уборной, я испытывал такое томление, что готов был отказаться от дебюта, от казенной службы и снова возвратиться в недра провинции. Но незабвенный Мартынов явил мне свою товарищескую помощь. Он позвал меня к себе в уборную и дружески сказал:

— Прикажи-ка перенести твой атрибут сюда — вдвоем-то, пожалуй, веселей будет… Да ты, друг, чего такой пасмурный?

— Страх одолевает.

— Это хорошо, когда трусишь не на сцене, а за сценой…

— Вот тут-то и штука, что я не могу поручиться за свою храбрость перед публикой…

— Вздор! Страх перед выходом — это гарантия смелости на сцене… Вся прелесть актерства для меня и заключается именно в этом страхе: если бы не он, так бы и зажирел, как свинья на помоях; страх-то энергию и деятельность возбуждает, при нем чувствуешь по крайней мере, что живешь… Ты вот у нас почти новичок, твой страх объясним, а обрати-ка внимание на меня— чуть не родился в Александринке, а ведь перед каждым выходом такая лихорадка трясет, что, кажется, так бы и убежал из театра…

— Я никогда так не робел, как нынче…

— Очень понятно! Ты дорожишь успехом, который должен обеспечить тебя и семью твою, а ведь наши кулисы хоть и поганые, но, все-таки, казенные… Впрочем, тебе беспокоиться об успехе очень-то не нужно: ты с протекцией и уже, я так слышал, принят, а этот дебют больше для проформы назначен…

Я расположился в уборной Александра Евстафьевича. Он все время смотрел за моими приготовлениями и, наконец, сам вызвался меня загримировать.

— Ты, поди, наше освещение-то забыл, — сказал Мартынов, — я тебя сам загримирую.

Потом перекрестил меня, поцеловал и выпустил из уборной.

Перед самым выходом, когда сценариус приказал мне готовиться, я оробел неимоверно и не шутя сказал помощнику режиссера П.П. Натарову:

— Я уйду! Я не могу! Боюсь!

— Что вы! Что вы! — заметил он мне с укоризной.

«Ваш выход!» — крикнул сценариус. Я было попятился назад, Натаров схватил меня за руки и вытолкнул на сцену. Оркестр дал аккорд и я запел свой входный номер. Публика заставила повторить, я окончательно вошел в роль и провел ее, как говорили, даже с воодушевлением.

Для проформы я еще сыграл два спектакля. После третьего пришел ко мне в уборную П.С. Федоров.

— Завтра в 10 часов утра, — сказал он, — вас ожидает к себе Борщов.

В назначенный срок я был у Павла Михайловича, встретившая меня словами:

— Ты принят… С сегодняшнего дня начинается твоя служба…

Я счел долгом его поблагодарить.

— Погоди благодарить-то, — перебил он меня, — может быть, в душе-то тебе выругаться надо. Жалованье малое назначаем: шестьсот рублей в год и три целковых поспектакльно, да еще пол-бенефиса. Согласен ли?

— Безусловно.

— Ишь вы к нам как охотно идете, — казенный хлеб вкуснее что ли?

— Сытее, ваше превосходительство.

— Да ведь в провинции-то жалованья больше дают…

— За то какая перспектива старости? Здесь как бы то ни было — это все равно, я обеспечен буду пенсией, а там бесприютность, голод и холод…

— Вот то-то и оно! — глубокомысленно заметил Борщов и бесцеремонно сказал: — прощай!

С этого времени началась моя служба, окончившаяся в 1882 году. О событиях этого времени буду говорить в следующих главах, а теперь в последний раз упомяну о провинциях, по которым я продолжал разъезды уже с казенной службы.

После двухлетнего беспрерывного пребывания моего в столице, я получил приглашение гастролировать к Харькове. Отпуск доставать в то время можно было легко, и я отправился в вояж. Харьковские гастроли прошли очень благополучно, и я привез домой хороший заработок, соблазнивший меня и на последующее время совершать артистические экскурсии, соединявшие приятное с полезным.

На следующий год я совершил прогулку в Киев, тоже по приглашению, но встретил там для своих гастролей очень неблагоприятное обстоятельство. После второго моего спектакля приезжает в Клев знаменитый трагик Ольридж, родом негр, совершавший в то время в компании с каким-то предприимчивым импресарио разъезды по русской провинции и пожинавший в большом избытке лавры и деньги.

Мы с ним играли через спектакль, по очереди, и очень понятно, что его участие делало громадные сборы, а мое — привлекало очень небольшое количество публики.

Сознавая свою бесполезность для антрепренера, я вскоре отказался от дальнейших гастролей, но с условием, чтобы в возмещение моих расходов дан был мне бенефис. Впрочем он и так приходился на мою долю, но по окончании известного числа сыгранных мною спектаклей, а так как он являлся преждевременным, то и приходилось изменять условие. Антрепренер согласился и разрешил поставить, что мне угодно и с кем мне угодно. Согласно такому разрешению, я, разумеется, обратился к Ольриджу с просьбою принять участие в моем бенефисе.

— Хорошо, — ответил он мне через переводчика, — я сыграю и даже спою. У вас, русских, есть какой-то переводный водевиль, в котором имеется роль негра, — он, кажется, выведен лакеем.

— Да, есть, — ответил я радостно.

— Так вот я и сыграю этого негра.

— А что петь будете?

— Я вставлю русскую песню, которую уж давно выучил «во пиру была, во беседушке».

Участие Ольриджа в водевиле да еще исполнение им русской песни собрало на мой бенефис столько народу, что буквально не было места, куда бы могло упасть яблоко. Русскую песню Ольридж исполнял потешно, характерные ее особенности, которые очевидно он изучал, передавал уморительно. Публика бисировала без конца, он повторил песню более десяти раз.

Говоря об Ольридже, я кстати расскажу об анекдотическом знакомстве его с Провом Михайловичем, Садовским в Москве. Ольридж бывал в русском театре и восторгался художественною игрою Садовского. В свою очередь и Пров Михайлович смотреть на английского трагика с благоговением.

В «Артистическом кружке» их познакомили. Садовский пригласил подать вина. К ним было подсел и переводчик, но Пров Михайлович его прогнал.

— Ты, немец, проваливай, — сказал он ему: — мы и без тебя в лучшем виде друг друга поймем.

И поняли!

Садовский ни слова не знал по-английски, Ольридж столько же по-русски. Однако, они просидели вместе часа три и остались друг другом очень довольны, хотя в продолжение всего этого времени не проронили ни одного звука.

Они пристально уставились друг на друга. Садовский глубоко вздохнет и качнет головой, как бы умиляясь своим талантливым собутыльником, — то же проделает и Ольридж. Потом Ольридж возьмет руку Садовского и крепко пожмет ее, — Садовский тотчас же отплачивает тем же. Улыбнется один — улыбается и другой. И опять глубокий вздох, рукопожатие и улыбки. Так все время и прошло в этих наружных знаках благоволения и уважения друг к другу.

Требование вина, для поддержки этой красноречивой беседы совершалось ими поочередно и тоже мимикой. Указывая лакею на опорожненную бутылку, Садовский или Ольридж как-то особенно многозначительно подмигнет, и на ее месте появляется другая.

Наконец, созерцательное их положение кончилось, они встали, троекратно облобызались и разошлись.

Кто-то из знакомых останавливает Прова Михайловича у выхода и спрашивает:

— Ну, как вам нравится Ольридж? О чем вы долго так говорили с ним?

— Человек он хороший, доброй души, но многословия не любит… Это мне нравится!

Эта сцена как нельзя лучше характеризует артистов, артистов не по званию, а по призванию.

После Киева я гастролировал в Рыбинске. Сперва один, потом вместе с покойным Степановым и здравствующим Стрекаловым. Первая поездка, примечательная встречей с начинавшей тогда свою артистическую карьеру П.А. Стрепетовой, упомянута в IX главе, а о второй поездке, тоже памятной по одному обстоятельству, расскажу сейчас.

Тогда еще не было Рыбинско-Бологовской железной дороги, а существовало от Твери до Рыбинска пароходное сообщение по

Волге. Время было жаркое, взобрались мы на палубу парохода и благодушествовали. К нам подсел какой-то молодой человек, одетый очень неизысканно, и стал пытливо наблюдать за нами. В свою очередь и мы, смущенные его пристальным взглядом, стали за ним присматривать. Он несколько раз порывался вступить с нами в разговор и, наконец, робко спросил:

— Не в Рыбинск ли на гастроли едете?

— Да, в Рыбинск и на гастроли.

— Вы петербургские, императорские артисты?

— Да, — ответил я и удивленно спросил совершенно неизвестного нам собеседника:— а вы каким образом это знаете?

— Я не знаю, а догадываюсь… Отчасти по внешнему виду, отчасти по разговору вашему, можно предполагать в вас деятелей сцены.

— А вы кто? — спросил Степанов.

— Пока никто, но до этого был аптекарь, а теперь хочется быть актером.

— Куда же вы едете?

— В Рыбинск же… дебютировать… Я списался с Смирновым, он велел мне приехать для дебюта, я бросил службу в аптеке и еду пробовать свои силы.

— А вы раньше не играли?

— Немного и неудачно, — откровенно признался он, — но сцену люблю больше всего на свете… Я с вами заговорил нарочно, чтобы попросить при случае содействия и заступничества. Ах, как хорошо, что я встретился с вами: мне о вас писал Смирнов, упоминал, что ожидает к себе петербургских гастролеров…

Мы обещали принять в нем участие и по приезде в Рыбинск сдержали свое слово. На первом своем дебюте он провалился так, что антрепренер не хотел ни под каким видом допускать его до второго, но мы общими усилиями упросили Смирнова смиловаться и выпустить еще раз, мотивируя неудачный первый выход его робостью, присущей всякому начинающему актеру. Смирнов согласился, и мы сообща позанялись с юным дебютантом, прошли с ним вторую дебютную роль и приготовили его на столько старательно, что он оказался довольно сносным исполнителем, после чего Смирнов переложил гнев на милость и принял его в свою труппу на маленькое жалованье.

Впоследствии этот наш случайный protege оказался талантливым актером и стал известным в провинции под именем Вехтера (его настоящая фамилия Вехтерштейн). Теперь он и сам благополучно антрепренерствует и несколько лет тому назад справлял в Пензе двадцатипятилетней юбилей своей провинциально-артистической деятельности, на котором, по его приглашению, участвовал и я. На этот торжественный спектакль я приезжал нарочно из Москвы и не забуду никогда того приема и публики, и самого юбиляра, которым был встречен я, его мимолетный учитель…

В Рыбинск к Смирнову я приезжал еще несколько раз гастролировать и хорошо изучил этого типичного антрепренера, почему и не могу удержаться, чтобы хотя коротко его не охарактеризовать.

При своей потешной наружности, он обладал забавным косноязычием, выражавшимся в беспрестанном повторении одной и той же фразы: «да, потому-что, да», что в общем делало его таким чудаком, на которого все невольно обращали внимание. У него была привычка каждую минуту подбегать к кассе и осведомляться о сборе, что ужасно надоедало кассиру, говорившему обыкновенно цифры наобум.

— Да, потому что, да… ну, что… да, потому что, да… как идет торговля?

— Одиннадцать рублей и тридцать копеек!

— Ай-ай-ай! С голоду… да, потому что, да… с голоду умрешь.., да, потому что, да… продавай лучше…

Через пять минут опять подбегает к кассиру.

— Да, потому что, да… ну, что?

— Одиннадцать рублей и сорок копеек!— отчеканивает тот, хотя в этот промежуток времени рублей на пять билетов взяли.

— Ай-ай-ай! — ужасается Смирнов. — Да, потому что, да… я тебя другим кассиром заменю… да, потому что, да… верно, с публикой ладить не умеешь…

И опять скроется на пять минут.

— Ну, что?

— Одиннадцать рублей и пятьдесят копеек!

— Ай!— взвизгивает антрепренер. — Гастролер сегодня… да, потому что, да… тридцать стоит…

Снова подбегает к кассе:

— Да, потому что, да, не подбавляется?

— Как не подбавляться— подбавляется: одиннадцать сорок, — промолвился кассир.

— Как сорок? — кричит Смирнов. — Да, потому что, да… сейчас пятьдесят говорил…

Входит в кассу и, не смотря на протесты кассира, начинает поверять билетную книгу. Насчитываете проданных билетов на восемнадцать рублей и накидывается на кассира:

— Да, потому что, да… врешь… на восемнадцать… мошенник… да, потому что, да… гибели моей хочешь.

— Обсчитался я, значит…

— Обсчитался!… Да, потому что, да… хозяйские доходы просчитываешь… я тебя на четвертак штрафую…

— Помилуйте, за что же?

— Да, потому что, да… у меня порядок такой…

Скуп был Смирнов необычайно. Гвозди на сцену давал по счету, и беда, если плотник во время спектакля, при недохватке, спросить еще.

— Воруешь! — закричит на него Смирнов. — Да, потому что, да… всегда восемь гвоздей идет, а нынче девять просишь… мошенник…

Когда по ремаркам пьес на сцену требовалось вино, фрукты, — Смирнов приказывал вливать в бутылки спитой чай, от которого, если бывало актеры по забывчивости проглотят на сцене по ходу пьесы хоть глоток, делалось тошно и дурно. Вместо фруктов, даже таких дешевых, как яблоки, на сцену подавался белый хлеб, нарезанный круглыми кусочками, что вынуждало исполнителей покупать на свой счет всякие бутафорские вещи, которые приходилось есть или пить. Помню, для какой-то пьесы я приобрел десяток яблоков и сдал их бутафору, который и подавал их на сцену. Из них осталось штук семь. После спектакля подбегает к бутафору расчетливый антрепренер с приказанием:

— Яблоков не лопать!.. Да, потому что, да… завтра ведь опять комедия с яблоками будет… Пригодятся…

При таких экономических условиях, говорят, Смирнов накопил много денег.

**XII**

Театральное начальство. — Гедеонов. — Невахович. — Его рассеянность. — Куликов. — Яблочкин. — Мина Ивановна. — Мартынов в драматической роли. — «Свадьба Кречинского». — 1 00-летний юбилей русского театра. — Гастроли П.М. Садовского в Петербурге. — Два соперника: Садовский и Мартынов.

При вторичном поступлении на казенную службу, в корпорации, как шутя в то время говорили, театрального начальства я нашел некоторую перемену, не большую численностью, но важную по обстоятельствам. Директорствовать еще продолжал приснопамятный А.М. Гедеонов, неохотно тянувший свою начальническую лямку до двадцатипятилетняя юбилея, но его секретарь Александр Львович Невахович, брат известного карикатуриста М.Л. Неваховича, заменен был Борщовым, а всесильный режиссер Куликов — Яблочкиным.

В последние годы своей службы Александр Михайлович стал мало обращать внимания на театры, все свои обязанности он возложил на своих помощников: П.М. Борщова и П.С. Федорова, которые в конце концов стали полновластными хозяевами всех столичных театров. Гедеонов так положился на их способности в деле управления, что все подаваемые ими бумаги, сметы, предположения подписывал, не читая и даже не осведомляясь, что именно они предпринимают,. Эта халатность не проходила для театров бесследно, и всюду можно было наткнуться на упущения, на безобразные послабления или на превышения власти. У семи нянек всегда дитя без глаза: каждый действовал так, как ему угодно или, вернее, выгодно. Пошли интриги, сплетни, неприятности, образовалась какая-то сутолока, которую разбирать пришлось десятками лет…

Бывший начальник репертуарной части, Невахович, был слишком бездельным, новый — Борщов, наоборот, слишком деловитым. При Неваховиче начальника репертуара не было совсем заметно, его правами неограниченно пользовался Куликов, умевший вообще прибрать к рукам все то, из чего он мог выгадать пользу. Александр Львович был идеал доброты, любезности, обходительности, но так рассеян и беспечен, что положительно ни во что не входил, все доверял своим помощникам и главным образом режиссеру, который даже злоупотреблял его невзыскательностью и доверчивостью. Ко всему этому если прибавить еще то, что Невахович недолюбливал русского драматического театра и никогда почти в него не заглядывал, то получится очень интересный тип начальника русской драмы. Впрочем, он не был исключением: большинство из начальства было именно таковыми, ни хуже, ни лучше.

Об его легендарной рассеянности ходит много анекдотов, живописующих Александра Львовича как нельзя вернее. Вот один из них.

Раз является к нему канцелярский чиновник, у которого накануне умер пятилетний сын, и просит (Невахович, кроме репертуарной части, еще был секретарем директора) дать билет (удостоверение) от дирекции о смерти его сына, так как без этого не принимают покойника на кладбище.

— Занят я, — говорит торопливо Невахович, — видишь! А пришел… Некогда теперь, приди вечером.

Чиновник идет вечером на квартиру Неваховича. Там ему объявляют, что Александр Львович в театре.

Чиновник отправляется в театр. Входить в директорскую ложу.

Невахович оборачивается и спрашивает:

— Что тебе?

— Вы утром приказали придти за билетом…

— Ах, да, да, да… вспомнил… — проговорил Александр Львович и приказал капельдинеру дать ему ложу третьего яруса.

Николай Иванович Куликов, главный режиссер русской драматической сцены, в 1851 году вышел в отставку. Для Александринского театра это было крупным событием, так как

Куликов заключал в себе всю силу театральной администрации. Он был все — и директор, и начальник репертуара, и управляющий конторою и театром и, наконец, режиссером. Ни до, ни после него, ни один режиссер не пользовался такою неограниченною, нераздельною властью. Николай Иванович умел так ориентироваться на Александринских подмостках, что все зависело от него, а он ни от кого. Вследствие этого авторы, актеры, весь театральный штат преклонялся перед его могуществом и трепетал его резолюции. Пьесы для театра он выбирал сам по своему вкусу, роли распределял по своему усмотрению, бенефисы назначал по желанию, — все это заставляло и авторов, и актеров, и бенефициантов, ходить к нему на поклон и вымаливать его милостей. Впрочем, такие первачи, как Каратыгин или Сосницкий, на Куликова почти не обращали внимания, и с ними ничего нельзя было поделать по причине их заслуженности и расположения к ним императора Николая Павловича, остальные же не могли удержать за собою самостоятельности и находились все время в подчинении могущественного режиссера.

На смену Куликова явился мой однокашник Александр Александрович Яблочкин, объезжавший предварительно Европу специально для изучения режиссерских обязанностей. Первою пробною пьесою его постановки была комедия П. П. Сухонина «Русская свадьба», выдержавшая бесчисленное множество представлений чуть не подряд. Проба оказалась на столько удачною, что Яблочкин назначен был главным режиссером и занимал эту должность до 1873 года. Моя вторичная служба началась при нем и окончилась при Федорове-Юрковском.

Наше многочисленное начальство не ограничивалось одними официальными личностями мужского элемента, тяготела над нами еще и неофициальная начальница в лице известной всем театралам пятидесятых годов Мины Ивановны, фаворитки одного очень влиятельного в театральной сфере лица. Ее власть над столичными театрами была велика и пагубна: долгое время от нее зависело все — и ангажементы артистов, и раздача подрядов, и награда бенефисами, и даже репертуар. Всесильный Куликов и тот пред ней пасовал. Она каждый день бывала в каком-нибудь театре, и для нее специально ставились ее излюбленные пьесы. Актеры, авторы, ходили к ней на поклон и наперебой старались заслужить ее внимание; наше начальство было с ней предупредительно и тоже не без заискивания ее расположения; различные подрядчики и вообще лица, желавшие чем-либо поживиться от театральной дирекции, действовали исключительно через нее, хотя это им и не обходилось дешево, но зато было верно и прочно.

Теперь мне самому кажется странным, как могло это быть, но тогда, когда все это происходило, казалось порядком вещей.

Так мы не были избалованы удачным назначением начальства, что всякую помпадуршу, всякую безграмотную чухонку, величали представительницею русского театра и подобострастно прилаживались под ее невежественный вкус. Больно и стыдно за то прожитое время! Стыдно и за себя, и за товарищей, и за начальство, и даже за того, кто вручил ей судьбы родного искусства. И добро бы ее сила выказывалась келейно, бесшумно, не выходила бы из пределов сцены, но нет — это было нечто гласное, официальное, что каждому постороннему бросалось в глаза.

Эта Мина Ивановна личность достопримечательная, благодаря той значительной административной роли, которую привелось ей играть в продолжение нескольких лет за кулисами казенных театров. Происхождение ее очень скромное: она была уроженкой Петербургской Чухляндии, то есть той ближайшей к столице местности, которая расположена по Финляндской железной дороге и знакома обывателям под разными национальными названиями, вроде Парголово, Токсово, Райволово, Перекиярви и т. п. Ее судьба, по рассказам старожилов того приснопамятного времени, такова: будучи молодой и красивой, она приглянулась одному очень незначительному чиновнику, проживавшему лето в избе ее родителей, которые по своей простоте душевной величали своего временного постояльца дачником. В то далекое время каждая подгородная лачуга в летние месяцы называлась дачей, а наивный горожанин, поселившийся в ней, — дачником. Сердце этого незначительного чиновника, не избалованное вниманием столичных дам, не удовлетворяющихся одними внутренними достоинствами мужчины, но требующими от него кое-чего посущественнее, вдруг взыгралось на лоне чухонской природы и потребовало материализации. За отсутствием более подходящей парити, Б. (с такой буквы начиналась его фамилия) сделал предложение «хозяйской дочери» и вступил с нею в брак. После медового месяца, как и следовало ожидать, он занялся ее воспитанием и образованием. Она оказалась, к величайшему удовольствию супруга, очень восприимчивой и быстро усвоила воспитательные уроки. Через год она была уже терпима в обществе, а через три года превратилась в такую светскую даму, что никто бы не посмел заподозрить ее в подгородном происхождении. К этому времени относится ее знакомство с главным начальником мужа, который, обратив на нее свое благосклонное внимание, стал в широких размерах протежировать Б., оказавшемуся чувствительным к благодеяниям и в благодарность уступившему свои законные права на обладание Миной Ивановной. Супруги дружелюбно разошлись. Муж быстро пошел взбираться по ступеням служебной лестницы, а жена прикомандировалась надзирательницею театров (она, изволите ли видеть, очень обожала сценическое искусство, а так как благодетель ее супруга и в театральном управлении был многозначащим, то, очень естественно, прихоть ее исполнилась без всякого затруднения). Она скоро вошла в колею закулисной жизни, быстро ориентировалась в новой для нее сфере и с таким достоинством сумела занять место фальсифицированной меценатки, что никому и в голову не пришло выказать хоть для приличия какой-нибудь самый незначительный протест. Все сразу признали ее властью. Все ходили к ней на поклонение, и наиболее унижавшихся она наиболее одаривала милостями, выражавшимися в различных льготах и прибавках. По ее желанию затирались и выдвигались; произвол был возмутительный. Во всех театрах у Мины Ивановны была своя ложа (крайняя с правой стороны во втором ярусе). Она величаво восседала на золоченом кресле и милостиво принимала во время антрактов всех, желавших лично засвидетельствовать ей свое почтение. Такая признательность артисток и артистов возбуждала удивление любопытной публики, не спускавшей биноклей с ложи театральной помпадурши, около которой постоянно толпились служители свободного искусства.

Б. дослужился до статского советника и вдруг внезапно умер. На Мину Ивановну внезапная кончина статского советника произвела удручающее впечатлите: она в недалеком будущем считала себя «превосходительною» и вдруг… Ох, уж это вдруг! Ну, чтобы протянуть ему еще хоть один год!… Впрочем, удрученную вдову утешили — похороненного Б. задним числом произвели в действительные, и Мина Ивановна сделалась генеральшею…

О дальнейшей судьбе Мины Ивановны мне ничего неизвестно. Как мгновенно она появилась на театральном горизонте, так мгновенно и скрылась. Да, по правде сказать, не многие ее исчезновением и интересовались. Первое время, действительно, как будто чего-то в театре не хватало; по привычке взглянешь на крайнюю второго яруса ложу — и вместо одобрительной улыбки, которая почти никогда не сходила с физиономии г-жи Б., видишь чью-то постороннюю фигуру, видимо удивляющуюся особенному вниманию актеров, по старой привычке беспрестанно заглядывавших в роковую ложу.

От начальства естественный переход к товарищам и закулисным событиям.

Прежде всего упоминаю о Мартынове, величайшем комике, который в 1855 году, вскоре по поступлении моем в состав казенной труппы, выказал себя замечательным драматическим актером. Первая роль нового амплуа была роль Михайлы в драме А.А. Потехина «Чужое добро в прок нейдет». Перед первым представлением и публика и товарищи соболезновали о любимце, выступающему в расцвете своего могучего комического таланта, в совершенно непосильной роли. Театралы искренно возмущались на дирекцию, разрешившую Александру Евстафьевичу выступить в роли не его жанра, и даже подозревали в этом интригу со стороны начальства. На самом же деле роль Михайлы Мартынов играл по собственному желанию и на все дружеские отсоветывания он категорически отвечал, что эта роль безусловно его, что она ему по душе, и он ее никоим образом не испортит. Все в этом сомневались, но каково же было их удивление, когда наш комик вышел победителем драматической роли, и каким еще победителем! Успех был колоссальный! Знатоки не знали, кому отдать предпочтение: комику ли Мартынову, или драматическому герою Мартынову? Александр Евстафьевич выказал другую сторону своего могучего таланта и заслужил такое удивление знатоков, что с тех пор к нему применили наименование гения, и его имя стало бессмертным, — бессмертным настолько, насколько позволяет неблагодарный актерский труд, не оставляющей после себя вещественных доказательств, а поверяемый на слово современников и переходящий из поколения в поколение в виде легенды. Вот чем обидно и тяжело актерство. Писатель, художник, скульптор, музыкант, изобретатель — все после себя оставить произведения, по которым их будут ценить и знать потомки, относящееся вообще недоверчиво к восторгам и похвалам своих предков, но что может оставить после себя актер? Ни к кому так не применимы Пушкинские слова «слава — дым», как к нашему брату закулисному труженику…

В 1856 году, в бенефис Бурдина дана была «Свадьба Кречинского», до представления наделавшая шум за кулисами, а после представления — в публике. Дело в том, что Максимов и Мартынов, которым предназначались самим автором Сухово-Кобылиным главные роли — Кречинского и Расплюева, наотрез отказались принять какое либо участие в этой комедии. Свой отказ они мотивировали «несимпатичной обрисовкой героев», из которых один шулер, другой — мошенник. Этой пьесе симпатизировал директор Гедеонов и лично упрашивал Алексея Михайловича и Александра Евстафьевича взять на себя намеченные автором роли, но ни тот, ни другой, все-таки, не согласились, предвещая этой комедии провал. Делать было нечего, пришлось отдать роль Кречинского Самойлову, а Бурдину — Расплюева. И хотя автору это было не по душе, тем на менее комедия прошла именно с таким составом и имела колоссальный успех, почти равный (по числу представлений) «Горю от ума».

Впоследствии Мартынов и Максимов жалели, что во имя какого-то предубеждения отказались от этой замечательной пьесы, принятой публикой как нельзя лучше.

Личность Кречинского, мастерски обрисованная Сухово-Кобылиным, была знакома всем петербуржцам, которые в сороковых годах встречали в лучших столичных салонах ловкого авантюриста поляка Крысинского, оскандалившегося именно мошеннической проделкой с булавкой. Публика была крайне заинтересована этой комедией, и места в театре брались буквально с боя.

Самойлову Кречинский удался, про Бурдина этого сказать нельзя. Впрочем и Мартынов из Расплюева ничего не сделал. Не были ли правы Максимов и Мартынов, отказываясь предварительно от «Свадьбы Кречинского»? Почем знать, может быть, с их участием комедия и не имела бы успеха? Разумеется, они бы не нарочно ее провалили, — они бы старались из всех сил поддержать ее, но не дали бы той особенности, той подстрочности, какою щегольнул Василий Васильевич. Самойлов в этой роли был неподражаем. После него выступали в Кречинском на тех же подмостках Александринского театра — Шумский, Милославский, Киселевский, но никто из них не мог произвести того впечатления, какое оставил по себе талантливый Самойлов. Это был чрезвычайно воспитанный, светский Кречинский, с изящными манерами, способный очаровать всех и каждого своим мягким обращением, бесконечною любезностью и искусно-подделанной чистосердечностью. И сквозь все это проглядывала шулерская наглость, хищнические ухватки, дерзкое нахальство, заметное исключительно для одних зрителей. Игра была тонкая, построенная на деталях и эффектах, неуловимых и не передаваемых. Как на особенную деталь, которую никто не мог усвоить, но которая вызывала фурор, следует указать — это привислянский акцент и плутовская рассчитанная вспыльчивость, являющаяся продуктом обидчивости.

В декабре 1856 года торжественно праздновали столетний юбилей русского театра. Для этого знаменательного дня были сочинены две пьесы, из которых одна принадлежала В.Р. Зотову, а другая графу В.А. Соллогубу. Представлены они были на сцене Большого театра при громадном стечении публики. Содержания первой пьесы не помню, а во второй сам принимал участие, и потому она еще сохранилась в памяти. Изображены были деятели театра Волков, Третьяковский, Дмитревский, Сумароков и проч. Сосницкий — явился Пушкиным, Мартынов замечательно загримировался Третьяковским, Максимов был представительным Волковым, Самойлов дал верное изображение Сумарокова. Публика с наслаждением просмотрела эту картину возрождения российского театра, метко схваченную и исторически верно переданную автором и актерами. На этот юбилей закулисные труженики возлагали большие надежды. Носились слухи, что для начала второго столетия даны будут актерам преимущества и льготы, что юбилейный день ознаменуется каким-то особенно памятным эпизодом для драматической сцены и ее представителей, — ожидали чего-то до последнего падения занавеса, но, увы! все прошло благополучно! По окончании спектакля артисты посмотрели друг на друга вопросительно, посмеялись в душе над своею наивностью и спокойно разошлись. Один только неунывающий П.А. Каратыгин попробовал пошутить.

— Мне понятно, — сказал он, — почему нас ничем не облагодетельствовали…

— Почему? — спросил его кто-то.

— Да потому, что если бы каждое столетие делать нам подарки, то дирекция просто разорилась бы. Возьмите для примера хоть одну тысячу лет — десять подарков, ведь это целое состояние. Кроме того, мы не чиновные особы… тех нельзя обойти, между ними встречаются генералы, а у нас если и найдется какой-нибудь генерал-бас, то он, во-первых, фальшивый, а во-вторых — мещанин…

После этого юбилея Мартынову было предписано докторами отправиться за границу для излечения начинавшейся чахотки. Неумеренная жизнь, погоня за разовыми, постоянные недостатки, надломили здоровье Александра Евстафьевича, и он стал заметно ослабевать силами. Не предприняв мер своевременно, он запустил свою болезнь, и на поправление его была слабая надежда. Доктора прямо заявили, что об окончательном выздоровлении его не может быть и речи, что поддержать его кое-как можно, но для этого нужна со стороны Мартынова строгая диета, умеренность и редкое появление на сцене, которая на него все время будет действовать разрушительно. В виду того дирекция распорядилась выпиской из Москвы П.М. Садовского на гастроли, долженствовавшие продлиться во все время заграничного путешествия Мартынова.

Это была первая поездка Садовского в Петербург. Публика приняла его радушно, не смотря на то, что он приехал на замену любимца. Выбранная им для первого выхода «Бедность не порок», в которой он был неподражаемый исполнитель Любима Торцова, прошла с необычайным успехом. Это был такой Любим, которого и не предполагали петербургские театралы. В этой характерной роли пробовали свои силы Самойлов и Бурдин, но ни у того, ни у другого, ничего похожего на настоящей тип, показанный нам Садовским, не выходило. Зрители сразу поняли, какого большого артиста они пред собою видят. Его успех с первого же выхода был гарантирован, впрочем и во всех остальных ролях он был так недосягаем, что в самое непродолжительное время завоевал любовь петербуржцев, которые охотно наполняли зало Александринского театра во время его гастролей. Это обстоятельство заставляло дирекцию несколько раз и впоследствии приглашать Прова Михайловича погостить в Петербурге.

Между прочими ролями, Садовский сыграл Расплюева. Это был замечательный Расплюев: мелкий шулер и плут, у которого природная добродушность и безобидная наивность прорывалась в каждом слове и жесте. Это был первый и последний Расплюев на петербургской сцене. Можно себе вообразить, что это было за концертное исполнение, когда Самойлов выступал вместе с Садовским. На своем веку я видел много раз «Свадьбу Кречинского» с разными актерами, но такого дуэта, такой дружной игры — никогда.

М. Максимов в свой бенефис вздумал поставить водевиль «Что имеем, не храним, потерявши— плачем». Роль Морковкина в нем он упросил сыграть Мартынова, уже давно вследствие болезни не появлявшегося на сцене и собиравшегося уезжать, а роль Петухова передал Садовскому, отметившему в своих гастрольных пьесах и этот забавный водевиль. Александр Евстафьевич и сам был не прочь помериться с своим московским соперником. Он вышел на сцену совершенно больным; публика, заметившая сразу, что ее любимец играет через силу, сделала ему большой прием. Оба артиста разыграли этот водевиль так, что во все время действия в публике не умолкал хохот. Оба они были так хороши, что театралы не знали, кому отдать предпочтение. Овация огромная устроена была соперникам; они бесконечное число раз выходили раскланиваться с публикой, на которую производили впечатление их дружеские отношения между собой. Они выходили на сцену, крепко держа друг друга за руку, а за сценой, говорят, переполнявшие их чувства выразились в братском поцелуе.

Бенефициант достиг своего — театр был переполнен, посмотреть на соперников сошлись с особенной охотой все завсегдатаи Александринского театра.

Через несколько дней после этого спектакля больной Мартынов уехал за границу лечиться.

**XIII**

Возвращение Мартынова, — Обед в честь Мартынова, данный литераторами. — Мартынов в драме «Отец семейства». — Последний выход Мартынова. — Известие о его смерти. — Похороны. — Анекдоты про Мартынова.

Поездка и отдых не подействовали облегчающим образом на Александра Евстафьевича: возвратился он в Петербург таким же хворым и слабым, каким и покинул его. Та же тяжелая

одышка, тот же зловещий кашель, та же усталость. Хотя он стал как будто серьезнее лечиться, но докторским советам и настояниям внимал мало. Ему было запрещено частое появление на сцене вообще и в сильных ролях в особенности, но неотложный нужды принуждали его играть и много, и все без разбора. «Разовая» система для него была гибелью; погоня за лишними рублями разрушала его здоровье не по дням, а по минутам.

Вскоре после возвращения Мартынов сыграл новую роль Миши Бальзаминова в новой пьесе Островского «Праздничный сон до обеда», которая представлена была в бенефис талантливейшей комической старухи Линской, неподражаемо игравшей свах. Мартынов был замечательным Бальзаминовым. Пьеса эта выдержала массу рядовых представлений при хороших сборах, но Александр Евстафьевич утомлялся в ней более, чем во всех других пьесах. Вслед за «Праздничным сном» появились две комедии Чернышева: «Жених из долгового отделения» и «Не в деньгах счастье». В обеих пьесах играл Мартынов главные роли — Ладыжкина и Боярышникова. Исполнение было безукоризненное. Мартынов дал такие новые типы, выполненные им с мельчайшими психологическими деталями, что обе пьесы сделались репертуарными и даются как на казенных, так и на частных сценах до сих пор. Своим выдающимся успехом они обязаны исключительно одному Мартынову, буквально превзошедшему себя и игравшему так, что публика рыдала, смотря на несчастного Ладыжкина, поставленного в положение комическое, но переживающего глубоко-драматические моменты. Зрители видели, как под смешной оболочкой жениха из долгового отделения, выставленного в ореоле глупости и трусливой неловкости, проявлялась мучительная душевная борьба. На представления той и другой пьесы публика ломилась в Александринский театр; очень многие ходили смотреть Мартынова в этих ролях по несколько раз: такое неизгладимое впечатление оставлял он своей потрясающей игрой.

После этих успехов петербургские писатели, во главе с Тургеневым и Гончаровым, задумали дать в честь Мартынова обед. Этим обедом предполагалось устроить сближение литераторов с артистами, которое, однако, к глубочайшему сожалению, не осуществилось, а ограничилось только этим товарищеским обедом. Контингент чествовавших родного комика был почти исключительно литературный, а представителем сцены был, кажется, только один виновник торжества. Обед состоялся по подписке; подписавшихся было очень много, что способствовало оживленно и веселости празднества. Было произнесено без счету речей, тостов и спичей, адресованных Александру Евстафьевичу. Он сконфуженно откланивался и от полноты чувств не находил слов для выражения благодарности. Очевидцы говорили, что во все время обеда Мартынов, благодаря своей природной скромности, чувствовал себя так неловко, что, казалось, глядя на него, он не может дождаться окончания всех этих оваций, чтобы удрать поскорее домой.

Александр Евстафьевич возвратился домой крайне растроганным и несколько охмелевшим. Собрав в кружок жену и детей, он со слезами на глазах стал рассказывать им, как чествовали его знаменитые литераторы.

— Очень хорошо там у них, все время за мое здоровье пили, — произнес Мартынов в заключение, — желали со мной в дружбе быть, говорили мне похвалы, но я, все-таки, сбежал от них к вам, мои детки, хотелось скорее придти и поведать, как любят вашего отца…

И впоследствии всегда вспоминал Мартынов об этом обеде с благоговением и особою гордостью.

Автор удачных пьес «Жених из долгового отделения» и «Не в деньгах счастье», Иван Егорович Чернышев, даровитый драматург и очень посредственный актер, написал новую драму «Отец семейства», которую взялся поставить в свой бенефис Мартынов. Роль себе взял бенефициант, не соответствующую своему амплуа, а именно Турбина, не заключавшую в себе ни одного комического штриха, а проявлявшую в каждом слове и жесте черствость, грубость, деспотизм. Однако, он ее сыграл так, что все безусловно признали его большим драматическим актером. При представлении этой драмы публика забывала величайшего комика Мартынова, — пред нею стоял несимпатичный домашний тиран Турбин, мучающий всех и вся и доведший до могилы своего сына. Самые нечувствительные зрители не могли удержаться от слез, и весь театр рыдал, как один человек, созерцая высоко-талантливую прочувствованную игру Александра Евстафьевича.

Это первый пример в летописях русского театра, — впрочем, не только русского, но и европейского, — чтобы один человек был так богато одарен талантами, противоположными друг другу. Комик и трагик— это нечто несовместимое, между тем Мартынов совмещал в себе эти две крайности и был одинаково превосходен как в одном, так и в другом.

Последнею ролью Александра Евстафьевича была роль Тихона в драме Островского «Гроза». Последним его выходом был первый бенефис Фанни Александровны Снетковой 3-й, состоявшейся на Фоминой неделе 1860 года. В ее бенефис повторялась в одиннадцатый раз «Гроза», наделавшая много шуму при своем появлении на сцене. Бенефис Снетковой, очень талантливой актрисы и всеобщей любимицы публики, был удостоен посещением государя и почти всей царской фамилии. Мартынов играл в последний раз перед отъездом своим на юг: его здоровье внушало серьезные опасения, и доктора торопили его покинуть как можно скорее гнилую петербургскую весну и перебраться на свежий воздух. Мартынов превзошел себя в этом спектакле и заслужил шумное одобрение зрителей. Артист взял верх над человеком: он пересилил себя, забыл на мгновение свою боль, заглушил немощные стоны разбитого организма сознанием своего артистического величия и… распростился навсегда с публикой, дорогой публикой, видевшей его первые шаги, зорко следившей за развитием его гения, оценившей и любившей его. Ни сам он, ни зрители не думали, что торжественный бенефис Снетковой в одно и то же время прощальный спектакль Мартынова. Никому и в голову не могла придти такая безобразная мысль, что он видит эту признанную красу театра в последний раз. А если бы у кого и мелькнуло это подозрение, то он постарался бы разогнать его, как нечто для себя крайне неприятное…

Имея целью своего путешествия южный берег Крыма, Мартынов отправился туда по собственно начертанному маршруту, по которому предстояло околесить массу как бы попутных городов. В этих, якобы, попутных городах он играл для того, по его словам, чтобы окупить расходы по путешествию. И вот вместо поправления здоровья он больше его расстраивает и, наконец, совершенно лишается сил. Об его артистическом турне нам, оставшимся в Петербурге, ничего не было известно, и мы спокойно поджидали его возвращения к открытию зимнего сезона, традиционно состоявшемуся 16-го августа. В этот самый день вдруг приходить телеграмма из Харькова с известием, что Александра Евстафьевича не стало. Это произвело сильное впечатление на весь Петербург, по которому тотчас же разлетелась печальная весть, и все были поражены неожиданностью. Театральный мирок тоже проникся искреннею скорбью. Все его нелицемерно сожалели и вопреки закулисным нравам, не находили ему преемника. Александр Евстафьевич был счастливейшим человеком — он не имел врагов, со всеми был одинаково хорош, и все одинаково его любили и даже обожали. В нашем кругу это такая редкость, которая заслуживает особенного внимания и требует упоминания в театральных летописях. Не даром сложилась поговорка, что актер без интриг — это тоже, что адвокат без портфеля…

Мартынову лечиться летом не удалось совершенно; погоня за деньгами, в которых он крайне нуждался для содержания своего большого семейства, принудила его без отдыха переезжать из города в город на гастроли и сбирать целковые. Казенное содержание было крайне недостаточно и не обеспечивало его, а гастрольный гонорар был существенною подмогой. Поэтому необходимый отдых он предпочел приватному заработку и поплатился жизнью. Глубоко правы были те, которые обвиняли дирекцию, а главным образом всемогущего П.С. Федорова, за скаредную экономию, следствием которой была потеря Мартынова. Когда об этом кто-то сообщил Федорову, он, с поползновением на логику, ответил:

— А почему он не просил прибавки? Попросил бы хорошенько, может быть, и прибавили бы…

— Да ведь он просил…

— Просил, но как? Нужно убедительно и хорошенько… Мало ли мы по просьбам, настоящим просьбам, прибавляем…

— Ах, Павел Степанович, это вы говорите про любимцев… Им-то, разумеется, идут прибавки…

— А разве Мартынов не был любимцем? Его мы тоже любили…

— А почему же не жаловали?

— Просить не умел!

Мартынов занемог еще в Одессе. Почувствовав себя крайне худо, он поспешил отправиться в Петербург, но, доехав до Харькова, слег в постель и умер 16-го августа 1860 года на руках А.Н. Островского, случайно в то время находившегося в Харькове.

Почти через месяц, т.е. в средине сентября, гроб с прахом Мартынова был привезен в Петербург и поставлен на сутки в Знаменской церкви, что на Невском проспекте у вокзала Николаевской железной дороги. В приходе этой церкви покойный проживал последние годы своей жизни.

На другой день его хоронили. Похороны были невиданные, стечение публики необычайное. Весь Петербург пожелал принять участие в погребальной процессии, все спешили отдать последний долг своему незаменимому любимцу. На отпевании были все петербургские литераторы, в полном составе русские и иностранные артисты, сановники и вельможи. Весь Невский, вплоть от Знаменской церкви до Адмиралтейства, был так переполнен народом, что движение экипажей было приостановлено. Печальный кортеж с трудом пробивал себе дорогу, ручки от гроба доставались положительно с бою. В шествии приняли участие артисты, литераторы, но главным образом учащаяся молодежь, глубоко уважавшая и любившая покойного комика. Перед гробом несли много венков, — это, кажется, было впервые: до похорон Мартынова шествий с венками не бывало.

У Александринского театра процессия остановилась и настоятельно просила священника отслужить литию.

— Как? У театра-то? — испуганно заметил священник.

— Нет, у здания, где Мартынов двадцать пять лет прожил душой и чувствами, — крикнул в ответ кто-то из толпы.

— Я не могу, — сказал священник, — вблизи нет никакой церкви… У Казанского собора отслужим…

Поднялся крик: «Здесь! Здесь!»

Священник, знавший лично покойного и относившийся с уважением к своему духовному сыну, был тронут общим единодушным возгласом. Он рискнул строгою ответственностью и отслужил литию.

Когда процессия двинулась далее, по направлению к кладбищу, кто-то из драматической труппы — теперь не помню — подошел к священнику и сообщил:

— Батюшка, вы служили литию на законном основании.

— Как так? — удивился священник.

— Вы служили перед церковью театрального училища, где покойный воспитывался.

— Ах, и в самом деле, — обрадовался священник неожиданному открытию.

Впоследствии, когда пришлось этому священнику отвечать перед начальством за несвоеместную службу, то он очень успешно воспользовался важным указанием артиста и оградил себя от неприятностей.

При опускании тела в могилу говорились надгробные речи, проливались слезы, раздавались истеричные рыдания… Горе казалось глубоким, неукротимым, но, увы! прошел год-другой, и Мартынов оказался в забвении. На его могилу в годовщину смерти явились только вдова и дети… Вот она слава актера! Имя Мартынова теперь пустой звук, а ведь было время, когда оно произносилось с благоговением, чтилось наравне с знаменитыми писателями, художниками и ваятелями земли Русской, и даже больше, потому что гений Мартынова был удобопонятен для всякого, он был проще и доступнее, был больше на виду и более возможен для проверки. Проверить актера не трудно — его правда сама сказывается; путем самых незначительных анализов, часто незаметных самому наблюдателю, познается степень дарования актера… Слава, даже бы жалкая слава, хотя бы в виде традиций, оставшихся после покойного и долженствовавших бы переходить из поколения в поколение, — и той нет, и та по прошествии какого-нибудь десятка лет утратилась окончательно. Что же остается после актера, даже гениального актера?

Посвящая эту главу Мартынову, припомню кстати о нем два анекдота, из тех немногих о нем анекдотов, которые ходили за кулисами.

Александр Евстафьевич изредка позволял себе после спектакля отправиться с приятелями в ближайший ресторан и в веселой беседе провести там несколько часов. Однажды после представления популярного водевиля Куликова «Ворона в павлиньих перьях», в котором Мартынов замечательно хорошо играл маркера Антона Шарова, выигравшего в польскую лотерею 900 тысяч злотых, — собралась в трактире обычная группа приятелей во главе с Александром Евстафьевичем. Живительная влага делала свое дело: развязала им языки и превращала их первоначально-серьезный разговор более и более в непринужденно-игривый и чрезвычайно шуточный. Приятели острили, каламбурили и покрывали все это беззаботным смехом.

В это время входит в трактир провинциал, впервые попавший в столицу из далекого захолустья и только что бывший в Александринском театре и до упаду хохотавший над забавным водевилем.

Увидя группу бритых и весело разговаривавших между собой людей, он осведомился у лакея:

— Уж не актеры ли это?

— Актеры-с.

— И Мартынов тут?

— Тут-с.

— Ну? — обрадовался провинциал. — Который же Мартынов?

— А вон тот! — ткнул рукой в пространство лакей и позванный кем-то из посетителей отбежал от провинциала, которому показалось, что тот указал ему на одиноко сидящего солидного господина, уместившаяся за отдельным столом неподалеку от актеров.

Провинциал почтительно подошел к нему и с блаженной улыбкой стал всматриваться в недоумевающего господина.

— Вам что? — наконец спросил его солидный господин.

— Я так-с, — наивно ответил провинциал, едва сдерживаясь от смеха.- А как же Параша-то?

— Что? Какая Параша?

— Ха-ха-ха! Вот шут-то гороховый!.. — неудержимо расхохотался провинциал. — Ах, чтоб тебя!.. Ха-ха-ха!.. Много ли денег от выигрыша осталось? Все спустил? Ха-ха-ха!..

— Что это значит? Вы забываетесь! — обиделся господин и встал, чтобы прекратить неуместную сцену.

— Да, ну, тебя к черту! Не ерепенься! — закричал на него простодушный провинциал и насильно усадил его на прежнее

место. — Сиди! Чем хочешь, угощу!.. Ха-ха-ха! Вот умора-то!

— Милостивый государь, я прикажу позвать полицию…

— Не смеши, ей-Богу, умру!.. Ха-ха-ха!.. Вот чудак-то!..

Ишь ты какой, — сразу и не узнать тебя… Ну, и потёшил же ты! Вот так маркер! Настоящей половой! Ха-ха-ха!

— Да вы сумасшедший! — воскликнул господин.

— Ха-ха-ха! И сердишься-то как смешно!.. Ой, батюшки! Вот смехота-то!.. Ой, умру! Ей-Богу, умру!.. Мартынов, голубчик, не смеши… Лопну, честное слово, лопну… Перестань!

Тут только господин понял ошибку провинциала и сам так расхохотался, что их обоих пришлось отпаивать водой. Актеры, свидетели этого недоразумения, тоже примкнули к хохотавшим, и стены трактира наполнились таким небывалым смехом, что всё бывшие в трактире, не исключая и буфетчика с лакеями, прибежали в общее зало, с целью разъяснить происшествие, но заразительный смех актеров, провинциала и солидного господина, оказавшегося известным петербургским домовладельцем, подействовал и на них. Они тоже пришли в веселое состояние и, не понимая, в чем дело, хохотали до тех пор, пока не явился свирепый трактиросодержатель и не разогнал их по местам.

Успокоившись, компания соединилась воедино, и кутеж продолжался до позднего утра.

Другой анекдот — это острота Мартынова, к слову сказать, чуть ли не единственная. Он вообще не отличался находчивостью, а тем более остроумием…

Подходит к нему где-то в обществе незнакомый невежа-аристократ и говорит:

— Я слышал, что вы удачно копируете всех и каждого. Прелюбопытно бы взглянуть, как бы вы меня представили?

— О, это очень нетрудно!

— Будто бы?

— Стоить только выглядеть ослом…

Аристократ ретировался и на всех перекрестках разносил Мартынова бездарностью.

**XIV**

Директор Сабуров. — Граф Борх. — П.В. Васильев — А.М. Максимов — Случаи из его жизни. — Брошель. — В.А. Лядова. — Легенда о зубах Лядовой. — «Смерть Иоанна Грозного».

В 1858 году А.М. Гедеонов, после отпразднованного двадцатипятилетия юбилея, покинул свой директорский пост и уехал отдыхать в Париж. Директорские треволнения, очевидно, были велики, ибо Александру Михайловичу потребовался отдых в чужих краях продолжительный. В Париже он прожил безвыездно до самой смерти, случившейся в начала шестидесятых годов.

После Гедеонова директором петербургских театров был Андрей Иванович Сабуров, до этого занимавший должность управляющего дворцом великого князя Константина Николаевича и никогда ничего общего с театром не имевший. Свое непонимание театрального дела он блестяще доказал четырехлтним (во все время директорства) беспрерывным дефицитом, сформировавшимся в довольно круглую цифру. Он сделал массу довольно непроизводительных расходов, благодаря своей страсти к перестройкам и ремонтам, а также и благодаря желанно казаться много знающим, при ангажементе артистов, в особенности иностранных, которым он назначал громадные жалованья и которые, как нарочно, оказывались никуда негодными. Все это, вместе взятое, сделало то, что дирекция прибегла к экстренному займу четырехсот тысяч из удельных сумм. Главным образом этот солидный капитал пошел на совершенно бесполезную перестройку Михайловского театра и на неудачную постройку Мариинского, воздвигнутого на пепелище сгоревшего цирка, остатки которого пошли в основание театра, через что и получилась неудовлетворительность в архитектурном отношении.

Сабурову почему-то показалось, что Михайловский театр слишком мал, и он надумал его увеличить. Между тем для иностранных (с искони века предназначенных для него французских и немецких) спектаклей он был совершенно достаточен. Прославленные его удобства и замечательная акустика при перестройке пропали: внутренний вид театра получился неуклюжий, об акустике не осталось помину, так что только из первых рядов кресел стало слышно актеров, тогда как до перестройки самые последние, в галерее, места были хорошо приспособлены к тому, чтобы с них все можно было превосходно слышать и видеть. Надежды директора на увеличение сборов, которые, по его мнению, долженствовали идти на уплату долга, оказались только надеждами. Перестроенный театр стал посещаться публикой с меньшей охотой, что ужасно озадачило Сабурова.

Сабуров не был скупым: казенных денег он не жалел для иностранных артистов и, во время своих заграничных поездок, самолично приглашал таких из ряда вон выходящих, по своей непригодности, исполнителей, что стыдно было выпустить их на сцену. Во время своего недолговременного правления Сабуров отбил охоту у публики бывать в театрах. На драматическую сцену он не обращал совершенно никакого внимания, а излюбленную итальянскую оперу своим усердием привел в такое положение, что в конце-концов он чуть ли не единственным зрителем остался.

Со всеми нами, актерами, он был груб и надменен. Исключения не было ни для кого. Его олимпийское величие и неприступность, которою он окружил себя с первых же дней директорства, крайне не расположили к нему всех, причастных к театру. С видом знатока и авторитетно он делал различный нелёпые распоряжения. Звание директора театров ему очень нравилось, и он с излишком злоупотреблял им. При нем воем нам жилось плохо, одному только Павлу Степановичу Федорову было по прежнему хорошо. Он забрал Александринский театр окончательно в свои руки и был его полновластным хозяином. Это начальство, конечно, тоже не обходилось без злоупотреблений, о которых, впрочем, и вспоминать-то не стоит по той причине, что всем известны эти злоупотребления и все крепко помнят Федорова.

После Сабурова директорское место досталось графу Борху, который всего-навсего прослужил два года и ничем не улучшил положения петербургских театров. На первых порах он принялся было деятельно устранять безобразные и явные злоупотребления, но, встретив сильнейший отпор со стороны много забравших себе власти и обросших театральною тиною подчиненных, уступил и подпал под влияние Федорова и других. С отставкою графа В.Ф. Адлерберга покинул свой пост и граф Борх, а на его место явился Степан Александрович Гедеонов, сын прежнего директора Александра Михайловича. Надежд на него возлагалось много, но они не оправдались. Степан Александрович был очень деятельным и даже понимающим дело, но у него не хватило сил побороть все те беспорядки, безобразия и злоупотребления, которые получили уже права гражданства за кулисами и для искоренения которых потребовались бы терпеливые года, а не дни, полные горячности, уверенности и быстроты натиска. Все это обрастало и накапливалось десятками лет, имело несомненную устойчивость и находило в окружающем деятельную подпору; нужно было подходить ко всему этому исподволь, с дипломатическим тактом и стратегическим расчетом, а не прямо и открыто. Такие отважные предприятия никогда не могут увенчаться успехом. Хотя и существует энергичная поговорка: «смелость города берет», но она всего более применима, как на самом деле и есть, к воякам, а для канцелярских деятелей, в особенности же театрально-канцелярских, она не годна. Шансы не равны будут: солдат обыкновенно дерется с солдатом, дипломат обманывает дипломата, но если солдат пойдет против дипломата, или дипломат устроит нападение на солдата, результаты получатся одинаково плачевные для солдата. Так рассуждали наблюдатели, следившие за лихорадочною деятельностью нового директора, и они были совершенно правы: Павел Степанович и другие были дипломаты, и победить их могла только дипломатия же…

При Сабурове умер Мартынов и поступил П. В. Васильев. Еще Александра Евстафьевича не успели похоронить (14-го сентября), как на его место уже заявился Васильев, дебютировавши в самом начале сентября. Будучи летом в Одессе, Мартынов играл вместе с Васильевым, который так понравился ему, что он пообещал Павлу Васильевичу свое содействие пристроить на петербургскую сцену. И действительно он быстро выхлопотал ему дебют, свидетелем которого Мартынову уже не суждено было быть. Обстоятельства сложились так, как будто Александр Евстафьевич сам лично нашел себе преемника и передал ему свое положение, амплуа.

Васильев дебютировал в заигранной покойным комиком пьесе «Андрей Степаныч Бука» и поэтому большого успеха не имел, но публика, все-таки, оценила его дарование, которое не было, разумеется, равным или даже подходящим к таланту Мартынова, но, тем не менее, большое и выдающееся.

Павел Васильевич не был положительным новичком для театрального начальства. Он когда-то учился в Петербургском театральном училище и был исключен оттуда за неспособность к драматическому искусству! Выгнанный из школы юношей, он отправился в провинцию и в небольшой период времени выработался в большого актера.

После первого дебюта входит к нему в уборную один из бывших его преподавателей, узнавший старого своего ученика, и говорит:

— Поздравляю! Поздравляю! Эк вы выровнялись-то! Я от вас этого не ожидал!

— А я от вас всего ожидал! — ответил в тон Васильев.

Первое время Васильеву было тяжело. Мартынов был еще жив в памяти каждого, и выступать в его ролях была большая смелость и риск. Нужно было быть действительно очень даровитым, чтобы взять на себя такие ответственный роли, как покойного комика, однако Васильев не падал духом, трудился неустанно и в конце концов приобрел себе положение, симпатии публики и если не заменил Мартынова, то, все-таки, был лучшим из всех, бравшихся за Мартыновский репертуар.

Во многих ролях Павел Васильевич был самостоятелен и незаменим. Например, кто лучше его изображал Любима Торцова в комедии «Бедность не порок»? Кто был хорошим Расплюевым после Садовского? Во многом ли уступал он Мартынову в «Женихе из долгового отделения»? Был ли лучше его Подхалюзин в комедии «Свои люди — сочтемся», или дьячок Вербохлестов в сценах Погосского «Чему быть, того не миновать»? Все это говорит в пользу артиста, которым дирекция не умела дорожить. Павел Васильевич покидал казенную сцену, уезжал в провинцию и опять, по зрелом размышлении, был возвращаем дирекцией, а в 1874 году он окончательно вышел в отставку и уже более на петербургской сцене не появлялся, хотя со стороны дирекции и были сделаны первые шаги к примирению, но Васильев оказался непоколебимым.

В 1861 году умер от чахотки Алексей Михайлович Максимов, более четверти века несший на себе все ответственный роли любовников, фатов (в то время называвшихся повесами) и вообще молодых людей. Он был очень талантлив, и его смерть была чувствительна для театра. На замену его не явился никто, и амплуа, так называвшееся максимовское, раздробилось на нескольких исполнителей, которые заставляли горько оплакивать смерть этого хорошего человека, хорошего товарища и хорошая актера. Алексей Михайлович был крайне разнообразен, в его репертуаре были роли совершенно непохожие одна на другую, как, например: Хлестакова, Чацкого, Молчалина, Гамлета, Ноздрева в «Мертвых душах», Яго в «Отелло», Лепорелло в «Каменном госте», Фердинанда в «Коварстве и любви», Кина, Фигаро и проч. И замечательно, что во всех ролях он был хорош.

Максимов молодость свою провел бурно. Его почему-то обожали купеческие сынки, спаивавшие его и подбивавшие на разгульную жизнь. Вечные кутежи способствовали развитию чахотки и свели в могилу этого замечательная артиста. Несмотря на свою, по-видимому, безобразную жизнь, Алексей Михайлович был глубоко-религиозным человеком. У него был излюбленный монастырь, стоящий близь Новгорода, на берегу Волхова, в который он делал вклады и был самым усердным и частым его гостем. В этот монастырь Максимов уезжал обыкновенно на весь великий пост, уделял время посетить его летом; вся монашествующая братия его знала и относилась к нему с почтением за его религиозность, с виду вовсе не свойственную служителям театра, который, по суеверным понятиям народа, не более как «утеха черта», бесовское наваждение и т.д. в этом же роде.

Алексей Михайлович был незаурядным анекдотистом и крайне счастливым на приключения. Про него всегда ходила за кулисами и в публике такая масса рассказов, что упомнить хотя бы десятую часть их не было никакой возможности, что очень жаль, так как большинство из них характерны и обрисовывают Максимова со всеми его слабостями рельефно.

Особенно забавен один факт, приключившийся с ним в молодости, вскоре по выходе из театральная училища, когда он был уже отмечен начальством и публикой, как талантливый актер, и имел выдающейся успех.

Будучи незанятым в каком-то спектакле, Максимов находился в «публике». В один из антрактов он пошел в курильную комнату, помещавшуюся возле буфета, чтобы затянуться «жуковым». Спокойно уселся в кресло, набил табаком трубку и стал поджидать кого либо с раскуренной уже трубкой, чтобы воспользоваться огнем и раскурить свою.

Через несколько минут входит пожилой человек невзрачного вида и в потертой одежде. Максимов принимает его за буфетного лакея и важно приказывает:

— Эй! Подай мне огня!

— Сию минуту, — отвечает вошедший и скрывается за дверьми, из-за которых почти сейчас же возвращается, но уже с зажженной бумажкой.

Алексей Михайлович не торопясь раскурил свою трубку и сказал:

— Спасибо, любезный.

Мнимый лакей бросил бумажку на пол, затоптал ее и, к удивлению Максимова, опустился на соседнее кресло. Алексей Михайлович хотел было сделать ему внушение за неприличное поведете, но тот предупредил его, смело сказав:

— Эй, подай мне стакан воды!

Максимов тут только понял, что прислуживавший ему человек — не лакей. Он опешил, растерялся, но, быстро оправившись, вскочил с места и побежал в буфет. Возвратившись через мгновение со стаканом воды на подносе, он с почтительным видом встал перед незнакомцем и услужливо проговорил:

— Пожалуйте!

Невзрачный господин не торопясь выпил воду и тоном Максимова сказал:

— Спасибо, любезный.

Когда Алексей Михайлович направился с опорожненной посудой в буфет, загадочный незнакомец остановил его вопросом:

— Вы, вероятно, не откажетесь возвратиться сюда побеседовать со мной?

— С удовольствием! — ответил на ходу Максимов и через минуту сидел уже около невзрачного господина, который наставительным тоном говорил ему:

— Очень жаль, что вы лишены воспитания. Неужели некому было внушить вам правила приличия, без чего успех в свете невозможен? Вы, молодой человек, только что вступаете в жизнь, поэтому сегодняшний мой урок вам будет не бесполезен. Вы занимаете известное общественное положение (я вас знаю, вы актер Максимов), на вас обращают внимание и даже некоторые подражают вам, значит, вы служите примером, а уж если быть примером, то нужно быть хорошим, не иначе. Следовательно, вам надлежит знать деликатность более, чем кому-либо. Деликатностью вы можете много одолеть преград, которые сплошь и рядом будут попадаться вам на жизненном и служебном пути… Если вы желаете, чтобы вас уважали, то умейте е и сами уважать. Это неоспоримая житейская аксиома. Кстати, запомните, что следует уважать человека, а не его платье!.. Не забывайте же всего этого, вам пригодится… А теперь познакомимтесь, как следует, и будем добрыми знакомыми… Вас я знаю, а мне позвольте отрекомендоваться: граф Завадовский.

После этого урока Максимов стал избегать графа, а если как-нибудь неожиданно и сталкивался с ним, то так чувствовал себя нехорошо, что Завадовский даже принужден был задавать ему вопрос:

— Здоровы ли вы?

Вскоре после представления «Гамлета», который в исполнении Максимова был впервые на Александринской сцене безукоризненным, шла переводная комедия «Любовь и предрассудок». Главная роль в ней актера Сюливана была поручена Алексею Михайловичу, поклонники которого воспользовались одною фразою из его роли и устроили ему громадную овацию, совершенно неожиданную и особенно растрогавшую артиста.

После слов:

— Я играл Гамлета и сам чувствовал, как я был велик в этот вечер!

Раздались оглушительные аплодисменты и на сцену посыпались из литерных лож в бесчисленном количестве венки и букеты. Около четверти часа продолжались рукоплескания и крики толпы. Другой такой овации в заурядном спектакле я не помню…

Этот случай прекрасно иллюстрирует отношения публики к любимому артисту. Я с особым удовольствием вспоминаю старое время, когда публика умела выражать свои чувства не только на словах, но и на деле…

9-го февраля 1864 года дебютировала в Александринском театре Брошель. Первый ее выход был в роли Лизы Фоминой, в комедии того же названия. Молоденькая и талантливая актриса сразу завоевала любовь публики. Театралы возложили на нее большие упования и надежды, все пророчили ей блестящую будущность. Она играла с увлекательною веселостью и с заразительным юмором в комедии, а в драматические роли вкладывала душу и чувства. Нервы ее всегда были в напряжении, она жила на сцене жизнью действующая лица, и это производило глубокое впечатление на зрителей. Она очень хороша была в «Лизе Фоминой» и «Семейных расчетах», но положительный фурор Брошель произвела третьим дебютом в комедии Островского «Бедная невеста». Марья Андреевна в ее исполнении вышла вполне законченным типом, без малейших недостатков. После этой роли она была окончательно признана талантом, и все лучшие роли перешли к ней. Она тем более была дорога для Александринской сцены, что задолго до ее появления не было в драматической труппе мало-мальски сносной артистки на амплуа ingenue-comique или dramatique, да и после ее исчезновения с подмостков также продолжительное время не находилось подходящей артистки. На смену ей явилась М.Г. Савина, но через восемь лет после ее ухода со сцены.

Брошель была худенькая, маленькая, но подвижная и изящная. Она только два года играла, на третий, в самый разгар ее деятельности и успехов, ей было предписано докторами отказаться навсегда от сценической карьеры. Порок сердца требовал спокойствия и продолжительного лечения. Последний выход Брошель был в первое представление драмы Островского «На бойком месте». Она играла Аннушку. Это было в конце 1865 года. Никто из публики не ожидал, что видит симпатичную артистку в последний раз. Во втором представлении «На бойком месте» ее заменила Струйская 1-я… После этого лет пять Брошель появлялась в театрах, в качестве зрительницы и, наконец, в 1871 году скончалась. Похороны ее были скромные: немногие шли за ее гробом.

Не смотря на кратковременное пребывание Брошель на сцене и на ограниченное число сыгранных ею ролей, имя ее театралам памятно и в закулисной хронике прошедшего очень заметно.

В шестьдесят пятом или шестом году балетная артистка Вера Александровна Лядова попробовала свои силы в драматическом театре и имела большой, вполне заслуженный, успех. Она выступила в певучих ролях — Анюты («Барская спесь» или «Анютины глазки») и Маргариты («Мельничиха в Марли»). В ней сказалась прекрасная драматическая актриса, и обнаружился симпатичный голос. Тогда же Лядовой было предложено начальством перейти из балетной труппы в Александринский театр, но она почему-то это предложение тогда отклонила и воспользовалась им только в 1868 году, летом.

Ее вступление в состав драматической труппы ознаменовалось коренным преобразованием серьезного репертуара в каскадно-опереточный. Режиссер Яблочкин, всегда чувствовавший склонность к оперетке, был крайне доволен приобретением Лядовой, действительно очень талантливой и примечательной исполнительницы ролей в каскадном жанре. Драмы и комедии отошли в сторону, без борьбы уступив место глупому водевилю и безнравственной оперетке, которые при своем появлении имели необычайный успех и делали баснословные сборы. «Прекрасная Елена» сыграна была в продолжение трех-четырех лет около 125 раз, «Птички певчие» — тоже что-то в роде этого, «Орфей в аду» выдержал более 75 представлений, «Званый вечер с итальянцами» и «Все мы жаждем любви» более 50, «Фауст на изнанку» и «Чайный цветок» тоже не менее этой цифры. Оперетомания воцарилась полнейшая — и за кулисами, и в публике. Весь Петербург устремился в «Александринку» послушать и посмотреть несравненную Лядову, которая оказалась лучше знаменитой французской опереточной звездочки Деверш, гостившей в то время в столице и выступавшей в тех же самых ролях, в коих выступала и Вера Александровна. Нужно заметить, что первоначальный успех Деверш был страшно велик, но Лядова значительно его сократила и, в конце концов, завладела им совсем. Прославленная Прекрасная Елена-Деверия играла почти при пустом театре[[10]](http://lib.ololo.cc/b/193622/read" \l "n_10" \o "   Михайловском.   ) а в Александринскй театр билеты разбирались с бою.

Выступая в оперетках, Лядова не отказывалась и от водевилей и даже играла Хрущова в сценах Сухонина «Русская свадьба». Она во всем одинаково была хороша и каждую роль проводила со всеми характерными особенностями, присущими изображаемому ею лицу. Вера Александровна обладала эффектною наружностью, была замечательно грациозна и играла с тем увлекательным шиком, которым отличаются только французские опереточные дивы. Не даром же она была прозвана «королевой каскада».

Зубы Лядовой, которыми зрители любовались, а зрительницы завидовали, по закулисным сказаниям, не были ее природными зубами, не смотря на то, что она сравнительно была молода. Сложилась легенда, будто бы Лядова перед поступлением в Александринский театр перенесла, по собственному желанно, чувствительную операцию: вырвала все свои 32 зуба, которые были значительно попорчены и черны, и заменила их искусственною челюстью. Она не могла себя представить в опереточных ролях с некрасивыми зубами и буквально из любви к искусству восприяла венец мученицы. Вырвать 32 здоровых зуба это геройский подвиг.

Вера Александровна немного покрасовалась на сцене: в начале 1870 года ее не стало. Сильная простуда была причиною ее преждевременной смерти. По репортерским отчетам ей привелось умереть два раза: за несколько дней до ее действительной кончины в какой-то газете появился ее некролог и был перепечатан на следующей день другими газетами. Потом появилось опровержение и опять извещение о действительной ее смерти. Почти то же случилось с покойным Вурдиным, который был похоронен досужими репортерами года за три раньше смерти.

Трагедия графа А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» при своем появлении произвела большую сенсацию как за кулисами, так и в публике. Начальство приложило все старания, чтобы обставить пьесу графа как можно тщательнее, и не жалело денег на ее постановку. Положим, такое редкое отношение театрального начальства к автору было вполне понятно: Толстой имел солидное общественное положение.

Все декорации и бутафорские вещи для этой трагедии были сделаны новые, по рисункам известного археолога и знатока русских древностей А.В. Прохорова. Костюмы шились тоже под его непосредственным руководством. Репетиций сделано было бесчисленное множество. Словом дирекция сделала все зависящее от нее, чтобы угодить сиятельному автору…

Первое представление «Смерти Иоанна Грозного» прошло при торжественной обстановке. Спектакль удостоили своим посещением покойный император Александр Николаевич, ведшие князья, вельможи и сановники. Весь партер был переполнен генералитетом, весь бель-этаж занят был придворными.

Но, увы! как ни старалось начальство щегольнуть постановкой трагедии, однако дальше внешнего блеска не пошло. Декорации, костюмы были роскошны, а исполнение удивительно слабое. Из главной роли царя Иоанна Васильевича ничего не мог сделать даровитый П.В. Васильев 2-й. Эта богатая эффектами роль в его исполнении пропала совершенно, и вместо Грозного царя зрители видели какого-то параличного отставного чиновника XIV-го класса.

После пятого или шестого представления Васильева заменил Самойлов, но и у него тип Грозного вышел бледным и неудовлетворительным. В этой благодарной роли Василий Васильевич не произвел на публику никакого впечатления; он был слишком изящен и ловок для Иоанна Васильевича, фигура которого представляется величественной и внушающей ужас, а вовсе не статной и красивой.

**XV**

Петербургские шутники. — Анекдоты. — Медведь из «Волшебной флейты». — Степанов. — Его слабость. — Моя вторая женитьба.

В старое время в Петербурге было много милых шутников, которые по странным стечениям обстоятельств принадлежали к кружку заядлых театралов. Иногда их шутки ограничивались остротой, иногда же они увековечивали свое имя в памяти приятелей такими школярными проделками, что приходилось сомневаться в здравости их мозгов. О шутках возмутительных я не стану вспоминать, чтобы не вызывать неприятного ощущения, а о безобидных проказах упомяну. Они могут послужить некоторой иллюстрацией отжитых дней, имевших свои характеристические особенности и резко отличавшихся от нашего времени, серьезного и бичующего, под личиной просвещенной сосредоточенности скрывающего все мельчайшие оттенки старого шутовства…

Был некий Ольдекоп, очень веселый человек и шутник большой руки. Его многие знали в Петербурге, в особенности из Мира театрального и коммерческого. Он имел какие-то сношения с биржей, таможней и представителями торгового купечества.

Однажды Ольдекоп достал, благодаря своему знакомству с театральными чиновниками, целый четвертый ряд на какое-то выдающееся балетное представление. Многие из биржевых знакомых, знавшие о его связях с закулисными воротилами, обращались к нему с просьбою раздобыть билет на этот отмеченный спектакль.

— Да я уж запасся малою толикою, — отвечал каждому Ольдекоп, — Если хотите я могу вам удружить одним, но не более, билетом в четвертый ряд…

— Да вы просто благодетель рода человеческого…

— И биржевого, — добавляет Ольдекоп.

— Ну, уж хоть один-то давайте…

Ольдекоп продавал билет, но по номеру не следующей за проданным уже предыдущему, а через номер. Таким образом, он ровно половину билетов оставил у себя, а половину продал сановитым купцам.

Наступил вечер спектакля. Театр был переполнен публикой. Является один за другим биржевое купечество и рассаживается по местам. Почти одновременно с ними в партере появляются какие-то пестро-одетые и безобразно-размалеванные феи предосудительного поведения и, к всеобщему ужасу купцов, садятся между ними, как раз через человека. Многие из публики обратили внимание на четвертый ряд и стали подсмеиваться. Купцы переглядывались и на своем лице изображали полнейшую беспомощность. Так прошел первый акт, по окончании которого купцы собрались в фойе, вызвали Ольдекопа, сидевшего с невинным выражением в шестом ряду, и сердито ему заметили:

— Ну, это свинство!

— Что такое?

— Ты нас на смех, что ли, между кокотками посадил?

— Какими кокотками?

— Да что около каждого из нас помещаются?

— Ах, эти-то?.. А ведь я, признаться, подумал, что вы их с собой приволокли, и удивлялся вашей бестактности.

— Ты не финти! Дело на чистоту выкладывай…

— Да я-то почем их знаю?

— Кто же, кроме тебя, мог им билеты дать?

— Не ведаю! Я только те билеты и приобрел от дирекции, которые вам продал…

Обиженные и сконфуженные купцы разъехались по домам, а расфранченные девицы остались в четвертом ряду одинокими. Впрочем, и они должны были вскоре покинуть театр, так как их положение оказалось тоже глупым.

Это оказалось, разумеется, шуткой Ольдекопа: оставшиеся билеты он роздал первым встретившимся на улице.

В другой раз, этот же самый Ольдекоп приобрел весь третий ряд на бенефис Мартынова в Александринском театре. Билеты доставались тоже с трудом, и потому биржевики обратились к его содействию. Он охотно исполнял просьбу только тех, кто обладал лысою головою, всем же остальным наотрез отказывал.

В спектакль получилось любопытное зрелище: весь третей ряд, на подбор, состоял из плешивых зрителей. Посыпались со стороны публики насмешки. Купцы недоумевали и чувствовали себя крайне неловко под нескромно направленными на них биноклями. В конце концов их забавное положение выяснилось, и они поспешили один за другим покинуть театр.

И много других проказ известно про Ольдекопа, но они более или менее похожи друг на друга, так что можно ограничиться только этими фактами.

В pendant к умышленному шутнику помянем шутника неумышленного. В конце пятидесятых и начале шестидесятых годов, была репертуарною пьесою «Волшебная флейта», в которой, как известно, участвует медведь. Однажды идет она в Каменноостровском театре. Медведя по обыкновенно изображал плотник Игнатий, уже не раз выряжавшийся в шкуру этого благородного зверя. В тот момент, когда медведь был на сцене и представлял из себя действующее лице, разразилась над Петербургом буря, сопровождаемая страшным громом. Вечер тот был вообще пасмурный и дождливый. Гром был на столько силен, что казалось, что он разразился над самым театром. И публика, и актеры вздрогнули от неожиданности, медведь же не только вздрогнул, но даже по русскому обычаю перекрестился. Испуг публики быстро сменился долго неумолкавшим смехом.

Старый сослуживец мой, Петр Степанов, был славным товарищем и безобидным человеком. Большим дарованием он не обладал, ничем особенным не отличался и ничьего внимания на себя не обращал. Жил он потихоньку, не слишком заметно, но и не бесполезно.

Слабостью его считалась манера приврать, но приврать бескорыстно, без всякой задней мысли, а просто к слову. Впрочем, эта слабость его была понятна: он был страстный охотник, а страстные охотники, как известно, лгуны по призванию. Степанов врал вообще, но когда разговор касался его конька — охоты, то он являлся в своем роде неподражаемым. В пылу увлечения его фантазия создавала такие необычайные факты и он обрисовывал себя таким необыкновенным героем, что слушатели без церемонии останавливали его в самом патетическом месте и указывали на его несообразности. В этих случаях он всегда, бывало, крякнет и в оправдание свое скажет:

— Н-да… Я и забыл, что вам ничего рассказывать не стоит, — все равно не поверите, а между тем все это истинные факты.

Однажды Степанов рассказывал на репетиции, во время антракта:

— Лет восемь тому назад у меня была замечательно умная собака. Звали ее Тамерлан. Ах, как хорошо он, подлец, птицу выслеживал, т.е. так хорошо, что я постоянно был подвергнута опасности…

— Да ведь ты не птица, — сострил Каратыгин, — какая же опасность тебе могла угрожать?

— А такая, что все знакомые и незнакомые охотники на собаку зубы точили и непременно хотели ее украсть у меня… А нужно признаться, я ее сам за смышленость у одного приятеля стянул… Ах, какая необыкновенная собака! Бывало разнюхает где либо гнездо, — так не набросится на него и не спугнет самку, как делают это все другие собаки, а тихо, неподалеку от находки сядет на задние лапы и передними манит меня… Я бывало, подкрадусь, спугну птицу сам и близехонько ее бью… Вот какой удивительный пёс был! Другого подобного я никогда не видал…

В другой раз он так увлекся, что стал было рассказывать о том, как медведь его придушил и начал им закусывать, но он будто бы во время нашелся, подал своему кровожадному врагу флягу с водкой, тот захмелел и выпустил из своих могучих лап бедную жертву. Тогда Степанов вскочил на ноги, поспешно вынул из кармана перочинный нож и распорол брюхо медведю.

— Зачем же было пороть его, ты бы застрелить мог. Ведь ружье-то при тебе было.

— При мне, да переломано… Вот я и говорю, как иногда бывает полезно на охоте иметь при себе водку и колбасу…

— Зачем же колбасу-то? — удивились слушатели.

— На закуску.

— Так ведь она-то в деле с медведем была не причем…

— Нет, очень причем.

— Поясни.

— Извольте. Если бы я не взял с собой колбасы на закуску, то не прихватил бы и ножа перочинного. Нож-то у меня специально для колбасы был взят…

Как-то в уборной собралась группа актеров и о чем-то разговаривали. Между прочим, разговор коснулся одного общего знакомого, который не задолго до этого умер.

— Жаль беднягу, — сказал Самойлов. — Не ожидал он так рано покинуть мир…

— Всегда был здоров и весел, — заметил Яблочкин, — и вдруг…

— Да, да, жаль бедного…

На этот разговор входит в уборную Степанов и, услыхав фамилию знакомого, как бы кстати замечает:

— Ах, вы про него? Прелестный человек, душа-человек… Такой добряк, каких свет не создавал еще… Я у него третьего дня вечером был…

— Слышите, господа, — перебивает его Самойлов, — он был третьего дня у него в гостях?

Все присутствующее расхохотались.

— Чего-ж тут смешного? — обиделся Степанов.

— Да как же не смеяться над тобой: ты говоришь, был у него третьего дня, а его неделю тому назад похоронили.

— Ну, так что-ж? — хладнокровно ответил Степанов, быстро оправясь и найдя ловкий способ оправдания. — Зачем вы меня перебили и не дали мне договорить…

— Ну, ну?

— Прихожу я к нему третьего дня и звоню. Открывает мне дверь горничная. Я спрашиваю ее: «барин дома?» Она отвечаете: «никак нет, — их неделю тому назад похоронили». «Неужели?» воскликнул я с горечью. Она прослезилась и сказала: «Да». Меня это крайне взволновало, и я печально пошел домой.

Вообще Степанов был увертлив и находчиво выходил из разных неудобных положений, в которые он ставил себя по собственному желанно. Он никогда, бывало, не смутится, какими бы неотразимыми доводами его ни обличали, а наоборот, как-нибудь так поведет разговор, что сам обличитель смутится и чуть не сознается в мнимой оплошности. Эта черта его характера придавала ему оригинальность и выделяла из ряда обыкновенных лжецов по призванию.

В ионе 1865 года я лишился жены, скончавшейся внезапно, во время моих гастролей в Рыбинске у Смирнова. Оставив ее в Петербурге бодрой и совершенно здоровой, я, по получении из дома телеграммы, извещавшей об ее смерти, был так ошеломлен неожиданностью, что сразу даже не хотел верить совершившемуся факту, приписывая телеграмму неблагородной шутке какого-нибудь столичного «благоприятеля». Но роковая действительность обнаружилась тотчас же переговором через телеграф с детьми. Разумеется, я моментально собрался к отъезду в Петербургу но ко мне на квартиру явился Смирнов и категорически заявил, что не отпускает меня.

— Да, потому что да… Вы должны еще три спектакля отыграть…

— Какие теперь спектакли! Не до них…

— У нас с вами условие…

— При таких обстоятельствах оно имеет маловажное значение…

— Да, потому что да… меня не касается смерть вашей жены. Вот если бы вы сами умерли, тогда бы, пожалуй, условие нарушилось, а теперь нет… Да, потому что да… Лучше не собирайтесь, — я крикну «караул», прибежит полиция и вас арестуют… Да, потому что да… ведь это дневной грабеж…

— Чего вы волнуетесь? Успокойтесь! Если хотите, после похорон я приеду к вам на три спектакля?

— Обдуете!

— Да когда же я вас обманывал?

— Да, потому что да… после похорон-то, я знаю, некогда будет… Играйте-ка теперь…

— Урву неделю и приеду.

— Не согласен!.. Да, потому что да… Отыграйте три спектакля и тогда куда хотите девайтесь…

— Ну, уж если на зло пошло, то знайте, что играть не стану, условия не признаю и после похорон не приеду…

— А я «караул» закричу.

— Кричите.

— Исправника приволоку, — плоше будет…

— Меня никто задержать не смеет.

— Почему?

— Потому что я человек вольный, а если вам угодно искать с меня убытки, то это можете в гражданском порядке через суд.

— Ага! могу!.. Да, потому что да… Пожалуй, уезжайте, только отдайте хоть убытки теперь…

— Э! Так вот вы куда гнули?! Прощайте!

Этим я прикончил всякие отношения со Смирновым и уехал в Петербург.

На моих руках осталось восемь человек детей. Мне было трудно с ними справляться. В том же году, в сентябре я женился на Клавдии Ивановне Дмитриевой.

**XVI**

Ю.Н. Линская. — Ее судьба. — П.И. Зубров. — Его сломанные ноги.

Юлия Николаевна Линская во все время своей службы на императорской сцене пользовалась громадным и вполне заслуженным успехом. С ее смерти прошло уже двадцать лет, а ее амплуа остается до сих пор не замещенным, — вот какая была она актриса. В бытовых ролях Линская осталась без подражательниц; комические роли ею передавались с художественною правдою, без малейшей утрировки; купчихи-самодурки, свахи, в ее исполнении выходили законченными типами, прямо выхваченными из жизни.

Линская училась у знаменитого в свое время князя Шаховского, который со свойственным ему увлечением ошибся в ее истинном призвании и готовил ее на сильно-драматические роли. Она дебютировала очень молоденькой, осенью 1841 года, в пьесе Полевого «Параша Сибирячка» и тогда же обратила на себя внимание людей, понимающих искусство, но долго не выдвигалась вперед, пока не удалось ей сыграть комическую роль старой девы в водевиле «В людях ангел — не жена». Тут только выяснилось ее настоящее амплуа, и она стала появляться в тех ролях, в которых уже не имела соперниц. Впрочем, слава Линской образовалась только в конце пятидесятых годов, в сороковых же она только пользовалась успехом, потому что в то время не все хорошие роли попадались исключительно ей, а делились на несколько претенденток, более заслуженных… разумеется, по возрасту, а не по дарованию.

В 1851 году Юлия Николаевна вышла замуж за известного петербургского миллионера Громова и покинула сцену. Ее отсутствие не было не заметно, хотя так же и не было очень ощутительно, так как Линская имела репертуар все еще ограниченный. Через четыре года, то есть в 1854 году, она снова поступила в состав нашей труппы. Разумеется, не ради денег пошла она снова на сцену, а из непреодолимой любви к искусству. В деньгах она не могла знать нужды: у нее, как говорят, их куры не клевали, а скука и однообразие семейной жизни в замкнутом ветхозаветном доме принудили ее вновь отдаться театру. Конечно, поступление на сцену для нее было сопряжено с большими затруднениями, но Линская их все благополучно преодолела. Вся родня мужа, во главе со строгою свекровью, женщиною старого, как выражаются, закала, придерживавшейся старой веры, была против того, чтобы их родственница, жена именитого купца, «играла комедь перед людьми всякого сословия», но Юлия Николаевна сумела так расположить к себе всех и вся, что ей, «по размышлении здравом», было разрешено вновь вступить на скользкие подмостки сцены.

— Это бесовское наваждение, — сказала свекровь, — ну, да Бог с тобой, делай что хочешь, только в дом актерщиков не води… Ну, их! Я. и тебя-то не хотела к нам принимать, да ты такая хорошая оказалась…

На этот раз Линская попала прямо на свое амплуа и с первого же выхода стала пользоваться выдающимся успехом. Четырехлетнее пребывание в купеческой среде послужило ценным материалом для талантливой артистки, подмечавшей и изучавшей типы столичных дикарей, которые так рельефно олицетворены Островским в его картинах темного царства. Для пьес этого драматурга она была одною из лучших исполнительниц, усвоивших и отчетливо понимавших выдающегося автора.

Вскоре умер ее муж. Она оказалась наследницею его богатств, которые, впрочем, в продолжение очень немногих лет исчезли у нее без следа. Линская была необыкновенно добрая, и ее добротой злоупотребляли все и каждый. Недобросовестные люди корыстно ухаживали за ней и выманивали, в виде подарков, ценности и деньги.

— Ах, Юлия Николаевна! Какая у вас хорошенькая брошка?— стоило, бывало, сказать Линской одной «из подруг», как она отвечает:

— А вам она нравится?

— Еще бы! Это роскошь!

— Ну, так возьмите ее себе…

— Ах, что вы, что вы! — откажется для виду подруга. — Не надо! С какой стати! Эта вещь очень дорогая!…

— Возьмите! У меня есть другая, почти такая же…

— Нет, ни за что не возьму…

— Я на вас обижусь!

— Ну, уж если вы так, то… давайте! Но я непременно вас отдарю…

— Ну, вот еще пустяки!

И, разумеется, тем дело кончалось. Никаких отдариваний никогда не было.

— Юлия Николаевна! Я в страшной крайности…

— Ах, неужели?

— Предстоит опись имущества… и должен-то я гроши в сущности…

— Вы не допускайте до описи… Как же это можно… У вас, кажется, дети…

— И рад бы не допустить, да выплатить долга нечем…

— У меня займите… Я вас выручу… Вам сколько надо? Говорите, не стесняйтесь.

— Триста рублей.

— Ну, хорошо, завтра на репетицию привезу.

И таких просителей у нее было ежедневно по несколько человек. Она раздавала деньги без счету и ни с кого не получала долгов. А если, бывало, и найдется человек с честными правилами и, поправясь обстоятельствами, вздумает возвратить ей долг, она наотрез получить его отказывалась.

— И охота вам помнить!… Потом когда-нибудь отдадите…

— Зачем же потом? Я теперь располагаю деньгами и считаю своею нравственною обязанностью возвратить вам ту сумму, которой вы меня выручили тогда-то…

— Спрячьте их, спрячьте! На черный день пригодятся…

Она всем напоминала черный день, а сама о существовании

такого не помнила. Юлия Николаевна полагала, что ее богатству не будет конца, а между тем конец был не за горами. Деньги истощались с неимоверною быстротою. К тому же случилось ей увлечься неким красивым юношей А. и уже в почтенном возрасте выйти за него замуж. Это была роковая ошибка Линской… Деньги проживались с удвоенной быстротой, у супруга всплывали долги, которые покрывались последними крохами этой доброй женщины, и, в конце концов, она осталась буквально без всего… Семейные огорчения и расстройство материальных средств подломили ее здоровье, и весною 1871 года она скончалась в нищете. Но ведь она получала жалованье? — возразят мне. — Да, получала, но оно все целиком уходило на выплату долгов, чужих долгов. Она последние месяцы доживала до того, что ей нечего было есть. Ее бесчисленные должники об этом хорошо знали, и никто не подал ей руку помощи. Ей не на что было купить лекарства, старые друзья великодушно подавали ей рубли… Боже! Неужели это только так бывает за кулисами?!.. Бывшую миллионершу хоронили по подписке… Это ли не плачевная судьба?..

Говоря про неудачи одной, кстати вспоминаю о неудачах другого. Этот другой — Петр Иванович Зубров, у которого под конец жизни «вышла линия на поломку ног». Петр Иванович был очень хорошим актером, все мы его любили за ум, веселость и простоту. Он был крайне покладистым, незлобивым и добрым. У него было несколько своеобразных, оригинальных черт в характере, но они не всякому бросались в глаза, их знали только некоторые, ближе знакомые с Зубровым, почему о них никогда не было разговоров и в закулисные анекдоты они не входили…

Петр Иванович питал большую приязнь к актеру Семенову. Они были всегда и везде вместе, за что их прозвали даже «аяксами». Однажды, в свободный от спектакля вечер, Зубров с своим другом отправились в немецкий клуб. Время провели они там очень весело: встретились со знакомыми, учинили попойку и разбрелись по домам в достаточно-нагруженном виде, то есть в таком, когда фантазия более всего разыгрывается не в пользу своего господина и ищет себе удовлетворения в совершенно бесполезных предприятиях, которые обыкновенно должны служить доказательством (кому— неизвестно) вменяемости субъекта.

— Извозчик! — крикнул было Семенов, выйдя из клуба, но Зубров его остановил.

— Не нужно, — сказал он, — погода превосходнейшая… Пройдемся пешком…

— Тяжело ведь…

— Ну, вот еще выдумал! Да я хоть по половице пройду и не покачнусь… Кроме того, эта прогулка нас освежит, и мы завтра не по чувствуем сегодняшней выпивки.

— Ну, пойдем, пожалуй…

Мирно беседуя, дошли они до Сенной площади, среди которой над Петром Ивановичем разразилась катастрофа. Он поскользнулся и так неудачно упал, что сломал себе правую ногу. Семенов сокрушенно покачал головой и произнес укоризненным тоном:

— Вот говорил я тебе: поедем да поедем, а ты: нет да нет, ну, вот и ори теперь…

— Судьба! — простонал Зубров. — Все судьба…

— Оно точно, а все-таки извозчика-то взять придется…

— Бери, скорей только…

Семенова вдруг обуяли материальные расчеты, и он не без сердца сказал:

— И отсюда извозчик берет четвертак и от клуба взял бы не больше, а пешком-то мы сколько продрали?.. Ты вот всегда так…

Привезли Зуброва домой, моментально послали за доктором-оператором Барчем, который умелою рукою вправил кости, сделал повязки и, кажется, через месяц выпустил его на сцену. Хотя Петр Иванович немного и прихрамывал, но играть все-таки мог. В конце концов он совершенно поправился и о поломе ноги даже забыл. В ту же зиму петербургская драматическая труппа устроила большой ужин в ресторане Донона, на Мойке, в честь гостившего тогда в столице Александра Николаевича Островского. Ужин этот затянулся далеко за полночь и имел симпатичный товарищеский характер. Только что мы встали из-за стола, как нам сообщили, что неподалеку от ресторана пожар. Несколько человек из компании, в том числе я и Яблочкин, отправились на место печального зрелища. Часа через два мы вернулись обратно к Донону и наткнулись тоже на невеселую картину. Зубров лежал на диване, а Барч что-то копошился около левой ноги его. Все участники ужина были встревожены и наперерыв ухаживали за больным.

— Что с ним?— спросил я у кого-то из присутствующих.

— Опять нога треснула…

— Почему? как?

— Неловко упал.

— Что же ему помогло свалиться?

— Поспорил он о чем-то с Бурдиным. Разговор завязался жаркий. Петр Иванович все шумел и налезал на своего оппонента, тот его слегка оттолкнул, а он не устоял и растянулся во весь рост, да так нехорошо, что сломал ногу…

Пока возились с Зубровым, стало рассветать. Время было под утро. Послали в какую-то больницу за носилками, на которые положили Петра Ивановича и отправили с наемными мужиками домой. Друг его, Семенов, взял сапог, снятый с больной ноги Зуброва, и торжественно понес его перед носилками. Нужно заметить, что Семенов был несколько навеселе и потому свои действия не подчинял рассудку. Многие из нас, ужинавших, пошли за носилками проводить до дому товарища, во-первых, чтобы смягчить впечатление его домашних, которые при виде необыкновенной ноши вообразили бы что-нибудь ужасное, и, во-вторых, для предупреждения каких либо недоразумений, возможных в дороге, в особенности же с таким ненадежным проводником, как Семенов.

Встречавшиеся нам прохожие с соболезнованием смотрели на нашу процессию, а многие даже религиозно осеняли себя крестным знамением, предполагая в Зуброве покойника. На Невском проспекте какая-то убогая старуха обратилась к Семенову с вопросом:

— Кого это, батюшка, хоронят?

— Того, бабушка, который на носилках лежит…

— Экий ты несуразный! Я про то, кто он, примерно, будет?

— Актер Зубров, бабушка.

— Ну, царство ему небесное!

Петр Иванович не выдержал. Слегка приподнялся он и крикнул:

— Врет он, разбойник, — я жив!

— Ай!— взвизгнула старуха и опрометью бросилась бежать в противоположную сторону.

На этот раз он долго вылежал в постели, а когда встал, то принужден был ходить на костылях. Это удручало его страшнейшим образом.

— Конец, всему конец! — повторял он, оплакивая свое прошлое. — Что я теперь? Кто? Калька, кандидата в богадельню… нет, не придется уж более мне играть! Моя песенка спета…

Мы исправно его навещали, в особенности же часто бывал у него неизменный Семенов, который однажды с тревожным видом вбегает в уборную Каратыгина, перед самым началом спектакля, и громогласно сообщает:

— С Петром Ивановичем опять несчастье!

— Что? Что такое?

— Еще ногу сломал…

— Третью? — с непритворным ужасом воскликнул Петр Андреевич.

— Ах, нет, первую, — живо ответил Семенов, — только в новом месте…

В квартире Зуброва было несколько ступенек из одной комнаты в другую, при переходе по ним он как-то неловко зацепил костылем за косяк двери и упал. Нога переломилась в новом месте, и он окончательно слег в постель, с которой уже и не вставал до самой смерти, случившейся в 1873 году.

**XVII**

Театральные юбилеи. — Анекдоты про Сосницкого и Самойлова. — Остроты Каратыгина.

При мне справлялось четыре больших юбилея: Ивана Ивановича Сосницкого за 50 и 60 лет службы, Петра Андреевича Каратыгина — за 50 лет и Василия Васильевича Самойлова — за 40 лет.

Пятидесятилетий юбилей Сосницкого прошел без особенной торжественности, но за то шестидесятилетий, пришедшийся на святой недели[[11]](http://lib.ololo.cc/b/193622/read" \l "n_11" \o "   1-го апреля 1871г. Прим. М.Ш.   ) отпразднован был блестящим образом.

Александринский театр был переполнен изысканною публикой. Все высшее общество было на лице. Государь Александр Николаевич, окруженный многими членами императорской фамилии, присутствовал в большой царской ложе. Весь театральный и литературный Петербург сосредоточился в этом достопамятном вечере в стенах Александринки.

Ветерана русской драмы публика встретила с энтузиазмом. Растроганный старик плакал и долго не мог начать второго действия «Ревизора», в котором он играл городничего.

Отрывок «Ревизора» на юбилейном спектакле имел немаловажное значение, так как ровно за тридцать пять лет[[12]](http://lib.ololo.cc/b/193622/read" \l "n_12" \o "     22-го апреля 1836г. Прим. М.Ш.   ) до того Иван Иванович в Александринском же театре исполнял роль Сквозника-Дмухановского при первом появлении на сцене этой знаменитой комедии Гоголя. Говорят, что по воле самого автора ему поручена была эта роль, с которой он не расставался до самой смерти. Программа первого представления «Ревизора», как дорогая память минувшего, сохранялась у Сосницкого. Роли распределены были так: городничий — Сосницкий, его жена — Сосницкая, дочь — Асенкова младшая, Хлопов — Хотяинцов, судья — Григорьев, Земляника — Толченов, почтмейстер — Рославский, Добчинский — Крамолей, Бобчинский — Петров[[13]](http://lib.ololo.cc/b/193622/read" \l "n_13" \o "   Оба в то время воспитанники театрального училища.   ), Хлестаков — Дюр, Осип — Афанасьев, Держиморда — воспитанник Ахалин, Мишка — воспитанник Марковецкий.

— Хорошо прежде играли «Ревизора», — говаривал Сосницкий, — теперь так его не разыграть.

— Почему?

— Потому что публика по другому настроена была. В те-то времена эта комедия каждого за живое хватала да на мысли наводила, а теперь-то только ради зубоскальства ее смотреть идут!

На юбилейном спектакле шел только один второй акт, — одряхлевшему Сосницкому уже не под силу было сыграть всю комедию. Да и в одном-то этом акте он путался и мешался, не взирая на то, что Сквозника мог бы играть без суфлера: так сильно врезалась в его память эта роль.

В сцене встречи городничего с Хлестаковым Сосницкий после слов: «извините, я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведения хорошего», — ни с того, ни с сего, сказал, обводя глазами потолок:

— Течь?

— Что? — неудомевающе обратился к нему Хлестаков.

— Я спрашиваю, почему у вас течь?

Публика рассмеялась и живо вообразила себе фигуру начальника отделения из сценки Щигрова «Помолвка в Галерной гавани». Иван Иванович забылся и начал подавать реплики из этого водевиля, почему-то на пол-фразе вообразив, что он играет именно начальника отделения, а не городничего. Однако, он вскоре оправился, опять-таки незаметно для себя вошел в роль Сквозника и окончил акт благополучно.

Его юбилейный спектакль состоял из 2-го действия «Ревизора», одноактной комедии И. С. Тургенева «Завтрак у предводителя»,

1-го действия оперы «Жизнь за Царя» и большого разнохарактерного дивертисмента, в котором принял участие балет. Этот сборный спектакль был вызван тем обстоятельством, что все труппы выразили желание непременно участвовать в шестидесятилетней годовщине одного из талантливейших представителей русской сцены.

Перед началом спектакля юбиляр был поздравлен с высочайшею милостию, и ему вручены были бриллианты на медаль, пожалованную ему в день пятидесятилетнего его юбилея.

В один из антрактов, император Александр Николаевич, зайдя на сцену, прошел в уборную к Сосницкому и вел с ним продолжительную беседу. Польщенный монаршим вниманием, старик разрыдался и не мог отвечать на вопросы государя.

— Ну, прощай! — сказал в заключение император. — Поговорим в другой раз на свободе…

Выйдя из уборной, Александр Николаевич подошел к группе актеров, ожидавших его появления.

— Стар он у нас! Нужно его беречь и холить… Да и вы, старики, себя берегите, — обратился он к Каратыгину, Григорьеву и другим. — Я вас, стариков, люблю и никогда не забуду.

Милостивые слова государя произвели впечатление на всех присутствовавших. Император в то время долго пробыл за кулисами и многих удостоил своим разговором.

Осенью того же 1871 года Иван Иванович выступил последней раз в комедии Минаева «Либерал». Это была его лебединая песня. Вскоре он слег в постель и, после трехмесячного постепенная угасания, 24-го декабря вечером скончался. Его кончину можно назвать кончиною праведника: он умер без болезни, страдания и агонии.

Хоронили Сосницкого скромно. Толпа, шествовавшая за его гробом в Новодевичий монастырь, была не велика. Это был тесный кружок друзей и товарищей покойного.

На могиле его говорили речи Н.А. Потехин и 0.А. Бурдин. Последний сказал краткое, но меткое слово:

«Дорогие товарищи! Бросая последнюю горсть земли на эти драгоценные останки артиста и человека, мы ничем иным не можем почтить память Ивана Ивановича Сосницкого, как тем, если будем стараться подражать ему, как артисту и как человеку».

В последние годы жизни, на восьмом десятке лет, Иван Иванович приметно одряхлел, но ни под каким видом не хотел считать себя стариком. Он бодрился и не прочь был от ролей, требующих исполнителя средних лет. В свои почтенные годы он смело мог бы играть стариков без грима, так как и по фигуре и по лицу, изборожденному многочисленными морщинами, это был человек «древнего вида». Между тем он всегда старательно и долго гримировался, затушевывал свои собственный морщины и выводил суриковым карандашом новые. Разрисует, бывало, себя самым неимоверным образом, наденет на свою лысую голову плешивый парик и любуется собой перед зеркалом вплоть до выхода.

Однажды подошла к нему покойная артистка Громова и спросила:

— Иван Иванович, с чего это ты лицо-то измазал? Все оно у тебя в каких-то рубцах вышло…

— Дура! — не без сердца ответил Сосницкий. — Разве не знаешь, что я старика играю?

Сосницкий плохо запоминал имена, фамилии и числа. Он все, бывало, перепутывал и никогда не мог ничего передать слушателю в последовательном порядке. В обыденном разговоре он перепархивал с предмета на предмет без всякой логики и системы. Подойдет к кому-нибудь и заговорит:

— Вчера я немного гулял по Фонтанке утром для моциона и встретил у моста… у того моста… как его…

— Аничкин?— помогает собеседник.

— Нет… ну, каменный еще…

— Да на Фонтанке все каменные…

— Теперь вот каменные, а я помню их деревянными… Вот, батенька, времечко-то было: говядина стоила грош, хлеб — грош, водка— грош, вся жизнь— грош… Бывало, извозчику-то дашь гривну, так он тебя везет— везет… Приедешь к Ивану, кажется, Петровичу… ах, фамилию забыл… ну, как его… Ну, у него еще зять в коллегии служил… а у зятя отец сенатским столоначальником был… ну, как его… ах, Боже мой, неужели не знаете?

— Нет, не знаю…

— Жена у него такая полная дама, с проседью… и у ней восемь человек детей было разного возраста… Ну, как его… ах, Господи! Опять забыл, на днях еще как-то припоминал его… Ну, тот самый, у которого свояченица с офицером сбежала… ну, как его… она была хорошенькая, черненькая, с большими глазами… Еще жил он на Петербургской стороне, в Гулярной улице… да, ну, как же…

— Да, Бог с ним, Иван Иванович, — не в имени дело…

— Вот хороший-то человек был! Прелесть! Хлебосол страшный…

Кто-нибудь отвлечет Сосницкого от этой беседы, и он преспокойно ее прекратит. Потом через час или полтора подбежит он к бывшему собеседнику и торжественно объявляет:

— Уржумов!

— Что такое?— недоумевая, переспрашивает тот.

— Припомнил, припомнил…

— О чем, про что?

— Ивана-то Петровича фамилия Уржумов.

— Какого Ивана Петровича?

— Да вот про которого я вам давеча-то говорил…

Такие неожиданности у Сосницкого случались довольно часто. Иногда он подлетал с каким-нибудь односложным словом, что либо разъясняющим, через неделю после того, как вел разговор, и весьма удивлялся, если знакомый успел уже забыть какой-нибудь его совсем неинтересный рассказ.

При упоминании о медали, данной Сосницкому, кстати припоминается В. В. Самойлов, которому в 40-летний юбилей была тоже пожалована медаль. Припоминается он потому, что на него монаршая милость произвела впечатление далеко не такое, как на Сосницкого. Иван Иванович принял подарок государя с благоговением, он был в восторге от него и часто с гордостью упоминал о «заслуженной им регалии». Самойлов же, наоборот, равнодушно ее принял и, кажется, никогда не надевал ее. Я помню, как подали медаль Сосницкому: он заплакал и поцеловал ее.

— Не даром трудился я, не даром, — радостно сказал он, — самим императором почтен и отмечен.

Присутствующей при этом Каратыгин заметил:

— За Богом — молитва, а за царем — служба не пропадает…

— Да, да… это ты верно…

Самойлову медаль поднесена была управлявшим тогда театрами бароном Кюстером перед началом юбилейного спектакля.

— Поздравляю с монаршею милостью! — сказал Кюстер.

Василий Васильевич молча взял футляр из рук директора и положил на стол.

Такое равнодушие артиста смутило барона, и он заметил Самойлову:

— Вы бы надели ее!

— Я знаю, что мне с ней делать!

Видя, что юбиляр не в духе, барон поспешил ретироваться, а Самойлов так и не дотронулся до царского подарка. Бриллиантовый значок от публики он носил постоянно, этой же медали я никогда на нем не видывал…

Василий Васильевич вообще был груб и заносчив. Даже шутки и остроты его всегда отзывались дерзостью, глубоко оскорблявшей того, на кого они направлялись. Его манера обращения со всеми была важная и гордая, он постоянно держал себя неприступным и ни к кому из закулисных товарищей не питал особенной приязни: для него все одинаково были ничтожны и недостойны его внимания. Такое страшное самолюбие и такое громадное почтете к самому себе развила в нем чрезмерная похвала публики. Разумеется, не на всех так действуют успехи, но для таких, как Самойлов, эгоистичных и до болезненности самомнящих, они являются положительным злом, коверкающим нравы окружающей среды и разрушающим добрые товарищеские отношения целой корпорации…

Вот образцы острот Василия Васильевича.

Капельмейстер Александринского театра Виктор Матвеевич Кажинский в каком-то жарком разговоре с Самойловым сказал:

— Клянусь тебе честью!

— Чем ты мне клянешься? — насмешливо переспросил Василий Васильевич.

— Честью.

— Да разве у вас, поляков, есть честь?

Кажинский вспыхнул:

— Даже больше, больше чем следует есть: порасчесть, так на вас, русских, хватить…

— Как же честь у вас, по-польски, зовется?

— Гонор.

— Ну, вот тебе и доказательство. Гонор — слово латинское, самобытного же польского слова вы не имеете… «Честь» у вас чужая, а своей собственной нет…

Режиссер Куликов, выходя как-то с репетиции вместе с Самойловым, с которым одно время он был в сильно натянутых отношениях, обратил внимание на «собственный» экипаж, стоявший вместе с казенными каретами.

— Чей это?— обратился Николай Иванович к капельдинеру.

— Господина Самойлова, — ответил тот.

— Вот как! Лошадок завели! — иронически сквозь зубы процедил Куликов.

— Да-с, мой! — задорно отозвался Василий Васильевич, до слуха которого долетели слова режиссера. — А вам что за дело?

— Так, кстати… Как будто вам не к лицу в собственных экипажах разъезжать.

— Значит, так же как и вам не к лицу свободно разгуливать.

— Что вы хотите этим сказать?

— То, что вам не к лицу ходить без кандалов.

Вскоре после своей отставки, Василий Васильевич встретился в клубе художников с актером N., который в некоторых ролях пытался заменить его, но, разумеется, безуспешно.

— Как живете? — спросил Самойлов.

— Грустим, — ответил N.

— Что так?

— Ваша отставка произвела на всех нас удручающее впечатление.

— Ну? Будто бы?

— Честное слово! Вся сцена по вас грустить…

— Ах, передайте сцене, что я тоже грущу за нее, потому что на ней остались вы!

Самойлов почему-то терпеть не мог литераторов. Один только недавно умерший Дм. Дм. Минаев пользовался его симпатией.

— Ну, этот еще ничего! — говорил про него Василий Васильевич. — Это человек большого ума и дарования, кроме того, я люблю его за хороший нрав, а остальные все ничтожные люди…

Когда его просили принять участие в вечере, устраиваемом в пользу «литературного фонда», он раскричался:

— Ни за что! Чтобы я стал участвовать для этих разбойников, — никогда!… Лучше и не просите, пальцем не пошевельну для литературных людишек… Видеть не могу я этих писак противных…

В силу чего Самойлов питал такую ненависть к представителям литературы, — решить довольно трудно. Во все время его сценической деятельности писатели были самыми искренними его поклонниками, газеты и журналы постоянно отзывались о нем с энтузиазмом, драматурги подлаживались под его тон и делали в своих пьесах угодные ему роли, — все это, по-видимому, должно было бы служить прочным фундаментом дружбы его с литераторами, между тем, он ненавидел их всей душой. Что бы это значило, для меня осталось тайной…

Часто упоминая в своих воспоминаниях имя своего учителя и товарища Петра Андреевича Каратыгина, я ничего не сказал о нем, как о человеке. Это был замечательный добряк, всеми любимый и уважаемый товарищ. Его все бесконечно любили и, вместе с тем, побаивались попасть ему «на зуб». Он стяжал себе славу незаурядного остряка и каламбуриста. Петр Андреевич был необычайно веселый и интересный собеседник; как бы ни было велико общество, но он всегда завладевал всеобщим вниманием и составлял центр. В нем заключалось несколько дарований: он был хороший актер, прекрасный водевилист (оригинальных и переводных пьес у него около сотни), не дурный стихотворец, искусный художник и превосходный преподаватель драматического искусства. Его бойкие экспромты и меткие эпиграммы памятны многим до сих пор.

Однажды на завтраке у генерала Челищева, когда подали заливного поросенка, Петр Андреевич сказал:

«Ты славно сделал милый мой,

Что в ранней юности скончался,

А то бы вырос ты большой

И той же-б участи дождался».

Молоденькая Асенкова, исполняя роль мальчика-полковника в водевиле «Полковник старых времен», на репетиции по ходу пьесы вынула из ножен саблю и сделала ею честь.

— Что вы делаете?— спросил ее Каратыгин.

— Честь отдаю.

— А что же у вас останется?

Как-то назначены были в один спектакль две пьесы. Одна у Полевого драма «Купец Иголкин», другая Каратыгина— водевиль

«Архивариус». По объявленному порядку спектакля сначала должен был идти «Иголкин», в котором одну из больших ролей играл актер Борецкий, опоздавший к семи часам, то есть к началу представления. Нужно было поднимать занавес, а действующего лица нет. Режиссер Куликов метался в отчаянии по сцене и не знал, кем заменить неисполнительного актера.

— Чего ты сокрушаешься? — спросил его Петр Андреевича

— Да как же, пять минут восьмого, а спектакля нельзя начинать.

— Будем раньше играть «Архивариуса»?

— Никак невозможно, по афише сначала «Иголкин».

— Пустяки! Публика не поймет…

— Как не поймет?

— Да так: при открытии занавеса я сшиваю бумаги иголкой, — зрители и подумают, что это и есть иносказательный Иголкин.

Трагедия графа А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» долгое время держалась в репертуаре Александринского театра и давала хорошие сборы. Разумеется, успех ее следует приписать не артистическому исполнению, а литературности произведения, верной обрисовке жизни отдаленного от нас времени и далее аксессуарам, которые действительно были художественны и выдерживали строгий стиль эпохи Грозного.

Когда приезжал гастролировать в Петербург московский премьер Шумский и когда он сыграл Иоанна Грозного в трагедии графа Толстого, Петр Андреевич сказал:

— Не счастливится графу Алексею Константиновичу…

— А что?— кто-то спросил его.

— Да как же: в его произведены мы видели Павла Васильевича, Василия Васильевича и Сергея Васильевича, — намекнул он на Васильева, Самойлова и Шумского, исполнявших главную роль в трагедии, — а Ивана Васильевича (Грозного) не видали.

Репетировали какую-то отчаянно-скучную пьесу. К третьему действию должен был приехать Монахов, в ней участвующей, но подошло время репетиции третьего акта, а его нет, как нет.

— Не приехал?— спрашивает режиссер Воронов у капельдинера, заведующая «отвозом» и «привозом» артистов.

— Карета за ними послана.

— А возвратилась ли она?

— Должна давно здесь быть.

— Поди, узнай.

Возвращается капельдинер обратно и заявляет:

— Г. Монахов приехали.

— Да где же он?

— Не могу знать, но кучер говорить, что привез.

— Иди и ищи.

Обежал капельдинер все уборные — нет, заглянул в режиссерскую— тоже, ни в бутафорской, ни в костюмерной тоже его не было.

— Нигде не нашел.

— Делать нечего, господа, будем репетировать без него, — сказал режиссер, — а Ипполита Ивановича подвергнуть штрафу.

По окончании репетиции, все участвующее вышли к подъезду и стали рассаживаться по каретам. Вдруг кто-то испуганно вскрикивает.

— Что такое?

— Кто-то в карете спит.

Подошли, взглянули — Монахов. Разбудили[[14]](http://lib.ololo.cc/b/193622/read" \l "n_14" \o "   Монахов в последние годы жизни предавался разгулу и на этот раз он не был вменяем после кутежа, совершенного накануне.   ).

— Что это вы, Ипполит Иванович?

— А уж разве приехали?

— Давно.

Петр Андреевич подошел к Монахову и сказал:

— Я не дивлюсь твоему безмятежному сну. Вероятно, ты в карете роль из новой пьесы учил?!

Как-то представляют Каратыгину провинциального актера, служившего когда-то, но не долго, на казенной сцене:'

— Вы, вероятно, его помните, как актера.

— О, да, я злопамятен, — ответил Петр Андреевич, сконфузив бедного актера, имевшего было намерение просить его содействия к поступлению вторично на сцену императорского театра.

Когда праздновали пятидесятилетней юбилей Каратыгина, явилась в его уборную депутация артистов, и один из них сказал прескучную речь, преисполненную чрезмерной лестью, которой не терпел Петр Андреевич никогда.

В самом конце речи Каратыгин прерывает оратора.

— Погодите, ради Бога погодите.

Все на него удивленно глядят. Юбиляр взбирается на стул и поспешно захлопывает отворенную форточку.

— Теперь продолжайте! Я и не заметил сначала, что вы говорили на ветер.

В уборной Каратыгина некий актер С. расхвастался вновь приобретенными золотыми часами.

— Часики хорошенькие, — заметил кто-то и спросил:— а цепочка медная?

— Нет, тоже золотая. У меня ничего нет медного…

— А лоб-то?— перебил его Петр Андреевич.

Это только тысячная доля тех анекдотов про Каратыгина, которые известны были его друзьям, знакомым и публике.

**XVIII**

Нижний Новгород. — Знакомство с М.Г. Савиной. — Савина в Петербурге.

В то лето, когда в Москве устроена была политехническая выставка, Н.Ф. Сазонов и я были приглашены нижегородским антрепренером Смольковым на гастроли. Мы пробыли почти все время ярмарки в Нижнем, играя ежедневно. Репертуар состоял преимущественно из легких комедий и опереток, которыми по просьбе Смолькова я и режиссировал.

Эти гастроли для меня памятны тем, что я познакомился с юной тогда Марией Гавриловной Савиной, нынешней премьершей Александринской сцены.

Я занят был постановкой «Орфея в аду». Все роли разошлись как нельзя лучше, не было только Амура.

— Кому же поручить эту роль?— спросил я Смолькова.

— К-к-к-кому н-н-нибудь, — не долго задумываясь и возмутительно заикаясь, ответил Смольков.

— Однако…

— Х-х-о-о-оть С-с-с-са-а-авиной.

— Какой Савиной?

— А-а-актри-и-иске мо-о-о-ей…

— Сыграет ли?

— Не-е-е знаю…

Передали Амура Савиной, занимавшей у Смолькова амплуа незначительных ролей. Сыграла она его очень мило, но никак нельзя было предполагать по исполнению этой роли, что из нее выработается такая большая артистка. Я там же видел ее и в нескольких водевильных ролях, но и в них она не проявляла своего выдающегося дарования, только впоследствии на казенной сцене развернувшегося во всю.

Не задолго перед моим с ней знакомством, она была повенчана с провинциальным актером Савиным, под фамилией которого и стала фигурировать на сцене, а до этого она называлась Стремляновою. Тогда же я узнал, что происхождением своим она вполне театральная особа. Ее родители, что называется, «коренные» провинциальные актеры; от самого рождения она была около сцены и очень юной начала подвизаться на театральных подмостках.

Вторая моя встреча с Марией Гавриловной была в Петербурге, в Благородном собрании. Весною 1875 года она появилась в Северной Пальмире уже известною провинциальною артисткою и была приглашена антрепренером этого клуба С.М. Сосновским дебютировать у него. Впервые выступила она в неизвестной тогда столице комедии Антропова «Блуждающие огни».

Дебютом этим заинтересованы были многие. Всем завзятым театралам было известно, что дебютантка не заурядная актриса, а талантливая артистка, и что это не та школьная знаменитость, которые размножаются в бессчетном количестве в последние годы, благодаря различным «драматическим училищам», представляющим из себя что-то весьма тяжелое для искусства, что-то удивительно обидное для театра, а настоящая вдохновенная артистка, самобытная и самостоятельная, систематически ничему не учившаяся, но производящая на зрителя цельное, неотразимое впечатаете.

Все это вместе взятое обратило внимание даже самой дирекции, командировавшей некоторых из артистов на дебют Савиной. В числе прочих на этом пробном спектакле был и Александр Александрович Нильский, в свое время имевший большой авторитетный голос за кулисами Александринского театра. Он пришел в восторг от дебютантки и, разбирая ее недюжинное дарование, выказал тонкое понимание искусства. На другой же день он доложил начальству, что Савина представляет из себя крупный талант, правда не разработанный, но при известных благоприятных для развития условиях способный занять выдающееся место на казенной сцене. Ей тотчас же было предложено попробовать свои силы в Александринском театре, в каковом она и выступила в первой половине апреля.

Для первого выхода Мария Гавриловна не струсила взять две ответственные роли: Катю из комедии «По духовному завещанию» и Невскую из сцены «Она его ждет». Успех был большой, вызовам не было конца, однако осторожное начальство к энтузиазму публики отнеслось недоверчиво и дебютантке предложили еще две пробы, на которые она опять-таки охотно согласилась, с полной надеждой овладеть вниманием зрителей и расположить к себе всех знатоков театра. Наконец, после третьего дебюта состоялся ее ангажемент. Она была принята на три года с 900-рублевым годичным жалованьем и десятирублевыми разовыми, однако эти условия не были долговременными: вскоре, в виду блестящих успехов, ей было увеличено содержание, и через каких-нибудь шесть-семь лет она дошла до пятнадцатитысячного (в общей сложности) оклада.

**XIX**

Моя «частная» антреприза. — Начальство. — Недовольство мной. — Притеснения. — Отставка, — Служба в провинции. — Неудачи. — М.В. Лентовский. — Мой пятидесятилетний юбилей. — Заключение.

Когда нам, актерам императорской сцены, не было еще запрещено выступать в частных театрах, а так же заниматься различными театральными предприятиями, я взялся за постановку спектаклей в Немецком клубе, где до меня антрепренерствовал Стрекалов, тоже служивший в нашей драматической труппе.

Эта антреприза для меня имела большое значение, так как, благодаря ей, я вынужден был расстаться с казенной сценой и в конце-концов совсем покинуть Петербурга. Обстоятельства сложились так неблагоприятно.

Приглашаете меня к себе на чашку чая литератор II. и просит взять его дочь, страстную театралку, в состав моей клубной труппы, в которой принимали участие товарищи по Александринскому театру и лучшие частные силы.

— С удовольствием, — сказал я, — для начинающей артистки на моей сцене откроется широкое поле деятельности…

— Значит, наверное она у вас будет играть?

— Наверное, если только у нее есть хоть малейшие задатки сценического дарования…

— Не беспокойтесь, окажется очень полезной.

— Душевно рад буду.

— А когда вы ей назначите дебют?

— Хоть в следующий спектакль… А сегодня пусть приезжает в клуб на репетиции познакомиться с будущими сослуживцами, да кстати ведь и я не имею удовольствия ее знать.

— Сегодня ей нельзя. Вы пришлите ей роль, назначьте репетиции и на первой же из них с нею познакомитесь…

— Превосходно.

Я так и сделал: прислал ей роль (одну из тех, список которых вручил мне при свидании П.) и назначил репетиции, на которой она привела меня в неописанное смущение. Дебютантка ни одной русской буквы не выговаривала порядком; разговорную речь коверкала до неузнаваемости.

Предчувствуя неудовольствие публики, я хотел было отнять от нее роль и передать другой, но кто-то уговорил меня не конфузить «молодую дебютантку» и дать ей самой лично убедиться в неспособности к закулисной деятельности. Кроме того, ее имя стояло уже на афише…

Нечего и говорить, что ее участие в спектакле ознаменовалось полным равнодушием публики и протестом клубных старшин, обязавших меня не допускать на подмостки таких неудачных исполнителей.

Разумеется, этой дебютантке я более ролей не давал, что вызвало неудовольствие чадолюбивого П., до этого относившегося ко мне благосклонно, а после этого события старавшегося мне досадить елико возможно. Он приезжал ко мне в клуб и прямо спрашивал, почему я не занимаю его дочь. Я ответил ему откровенно, сопоставляя мнение публики, решение старшин и, наконец, очевидную нелепость ее артистических надежд, которым никогда бы не выбраться из области неосуществимых фантазий.

П. уехал от меня рассерженным.

Антрепренерствовал я только один сезон. Не смотря на прекрасный дела, я должен был прикончить попытку давать на частной сцене порядочные спектакли, постановка которых обходилась чрезвычайно дорого, так что сборы еле-еле могли покрыть расходы, а собственный труд не считался ни во что.

Вслед за этим в императорских театрах произошла всем памятная реформа. Явилось новое начальство, пошли новые порядки, народились новые требования, подробный разбор которых я считаю преждевременным и обхожу молчанием. Замечу только о той бесцеремонности, какую проявило новое начальство к некоторым из нас, на первых порах не приглянувшимся их отческому взгляду.

Первым своим долгом новое начальство почло укоротить содержание актерам. Были уничтожены разовый и бенефисы, которые поступили в общий счет и вошли в состав жалованья. Против этого почти никто ничего не имел, каждый благоразумно рассчитывал, что определенная цифра получаемого значительно выгоднее поденного (разового) гонорара, всегда колеблющегося и зависящего от многих сторонних причин, на первом плане которых стоят «лады» с режиссером, «дружба» с могущественными товарищами, «угожденья» прямому и косвенному начальству и т.д.

Однако, некоторым вскоре пришлось разочароваться в новой системе, так как не всем суждено было в новом начальстве обрести покровителей. В нашем театре пертурбация произошла удивительная, сортировали нас, как рекрутов: «годен», «не годен», «повышение», в «отставку»… Некоторые поспешили сами убраться по добру по здорову, некоторым очень тонко было предложено убираться, а некоторых без всяких рассуждений увольняли.

Я попал в категорию вторых: мне было предложено убираться, т.е. меня не увольняли, но поступили со мной так просто, что я вынужден был сам подать в отставку. Это обстоятельство (кто бы мог думать) было последствием того неудачного дебюта в немецком клубе картавой и шепелявой барышни, о которой я подробно рассказал в начале этой главы. Тут пошли личные счеты и ни о каком поправлении дела не могло быть речи. На меня глядели косо, и я должен был повиноваться судьбе.

Однажды меня официально вызывают в контору императорских театров.

Приезжаю.

Мне протягивают новый контракт и лаконически говорят:

— Подпишите!

— Сперва должен прочитать…

— Чего читать? не торговаться же будем…

— Не знаю… может быть…

По новому контракту мне было назначено годовое содержание в 1200 рублей.

— Позвольте-с, — говорю я, — это ошибка.

— В чем?

— Я зарабатывал, как вам небезызвестно, до 6000 рублей в год и, думаю, приблизительно такая же цифра должна быть мне назначена жалованьем.

— Почему же вы так думаете?

— А потому, что я знаю контракты других. Всем назначено жалованье, соразмерное с заработком каждого в последний год.

— Это не наше дело, идите к старшему…

Являюсь к старшему. Принимает он меня, как и следовало ожидать, сухо. Впрочем, после прошлогоднего инцидента я на другой прием и не рассчитывал.

— Вам что?

Излагаю свое сомнение и выкладываю доводы, которые он резюмировал так:

— Если вам не угодно оставаться на назначенном жалованье, то можете подавать в отставку.

— Но ведь это не справедливо.

— Не совсем… Нужно очищать дорогу другим. Вы ведь пенсию получаете[[15]](http://lib.ololo.cc/b/193622/read" \l "n_15" \o "   Пенсия мне назначена в 1874 году, в размере 900 р. в год. Кроме того, в 1872г. мне пожалована грамота на потомственное почетное гражданство, как артисту первого разряда.   )…

— Да, но ведь и другие получают пенсию, однако им содержание не убавлено!..

— Так пришлось по раскладке… Дирекция в настоящее время не располагает лишними деньгами…

— В таком случае вам не следовало торопиться составлением моего контракта…

И в тот же день я подал в отставку.

Вот каким образом я лишился казенной службы. Ничтожное, по-видимому, обстоятельство причинило слишком серьезный ущерб мне…

Тотчас же после отставки я получил приглашение из Гельсингфорса вступить в местную труппу на правах режиссера. С этого времени для меня начинается снова скитальческая жизнь провинциального актера.

В Гельсингфорсе я провел всю зиму, не ознаменовавшуюся ничем особенным, достойного упоминания.

На следующий сезон я стал сам во главе антрепризы и снял Рыбинский театр, о доходности которого ходили легендарные слухи. Но, увы! я потерпел полнейшее фиаско. Дела шли отвратительно, мой пятисотрублевый залог пропал, все бывшие у меня сбережения пошли на покрытие убытков, даже пенсия не уцелела от краха… Эта неудача так сразила меня, что я поклялся себе никогда более не соваться ни в какие театральные предприятия, в наше время не выдерживающие порядочного отношения к ним, а требуюшие от инициатора только маклаческого задора, кулачества и как можно меньше совести. Да, провинциальный театр пал и долго ему не подняться…

Слухи о моем крахе достигли Москвы и Лентовского, от которого я получил приглашение по телеграфу вступить в состав его труппы. Я с удовольствием согласился и, полный разочарования, из Рыбинска двинулся в Белокаменную. С Лентовским я сошелся на 300 р. месячного содержания и бенефисе.

Первый мой выход у него был в театре Шелапутина. Я сыграл водевиль «В чужом глазу сучек мы видим». После спектакля подошел ко мне Михаил Валентинович и сказал:

— А меня было напугали.

— Что такое?

— Наговорили про вас, будто бы вы совсем одряхлели, и частые спектакли вам не под силу…

— Это не правда…

— Я и сам вижу, что клевета. Вы еще такой молодец, что всех нас за пояс заткнете и любого из молодых переиграете…

— Кто же вам про меня наговорил нелепостей?

— Нашлись добрые люди… Один из ваших старых товарищей уверял меня в вашей непригодности…

Вот они друзья!

С М.В. Лентовским я оказался старым знакомым. Я вспомнил его по дебюту в Александринском театре. Он когда-то давно выступал в «Птичках певчих», в партии Пикилло. Его дебют врезался в моей памяти по следующему происшествию, имевшему последствием бесконечные толки, пересуды и повлиявшему, кажется, на его поступление в казенную труппу.

Портной подал ему костюм, который оказался очень пригодным для Михаила Валентиновича, — одна только шляпа не пришлась по вкусу дебютанта.

— Нельзя ли достать с маленькими полями? — сказал он портному.

— Это самая форменная…

— Та еще форменнее будет…

— Других нет!

— Не может быть, поищите…

— И искать нечего, я хорошо весь гардероб знаю…

— Ну, так подайте мне ножницы…

— Извольте!

Лентовский мигом укоротил поля. Портной остолбенел от ужаса и дрожащим голосом произнес:

— Казенная!

— Ничего, — спокойно ответил Михаил Валентиновичу — казенной и останется!

— Что скажет начальство? — с отчаяньем возопил верный служака.

— А ты прикажи своему начальству завтра мне счет подать: я уплачу, чего эта шляпа стоить…

Это обстоятельство облетело все уборные и неблагоприятно отразилось на мнении власть имущих о дебютанте, ни на что не глядя проявившем такие буйные наклонности.

— Возьми такого, — рассудил Федоров:— он всю казенную амуницию переуродует. Нет, дальше от либералов…

После службы у Лентовского я поехал в Астрахань, но там много не дополучил; из Астрахани переправился в Кишинев, к покойному Никифору Ивановичу Новикову, но и у него

дела были не лучше астраханских: после полуторамесячного пребывания в Кишиневе принужден был уехать в Одессу, но и Одесса не оправдала надежд. Наш антрепренер К-ев, не заплатив никому из труппы, скрылся самым ехидным образом, оставив всех нас без гроша.

Вот положение театрального дела в провинции: крах за крахом, провал за провалом. Актерская семья с каждым годом умножается и ширится, а дело с каждым днем падает и, кажется, близок его окончательный кризис. Этот вопрос чрезвычайно важен и требует серьезного разрешения.

Из Одессы я перебрался в Киев. Меня пригласили занять должность преподавателя сценического искусства в местном русском драматическом обществе.

Пробыв в Киеве год с лишком, я соблазнился выгодным ангажементом Лентовского и опять поехал в Москву, в которой пока и живу безвыездно шесть лет…

Заканчивая свои воспоминания, не могу обойти молчанием лестного для меня празднования пятидесятилетия моей актерской деятельности. Оно состоялось в пятницу, 3-го февраля 1889 года, в театре «Шелапутина». Я сыграл свой старый водевиль «В тихом омуте черти водятся». Прием был большой. В день юбилея я получил массу поздравительных телеграмм и писем из разных концов России. Две телеграммы, особенно для меня ценные, позволю себе привести здесь полностью. Первая от покойного великого князя Николая Николаевича Старшего: «Поздравляю вас с юбилеем пятидесятилетней вашей артистической деятельности. Вспоминаю с радостью то время, когда вы нас тешили в моем Красносельском театре. Теперь еще благодарю за те веселые часы. Желаю вам всего лучшего и здоровья. Николай». Вторая от Петербургской драматической труппы, адресованная чрез Владимира Ивановича Немировича-Данченко: «Приветствуем сегодня в вас не только заслуженного юбиляра, но и дорогого старого друга. Пятьдесят лет служения драматическому искусству— факт замечательный в летописях театра, но едва ли не замечательнее то, что эти долгие годы не помешали вам остаться таким же честным и таким же правдивым человеком, каким вас всегда знали ваши товарищи. Кроме этого, какой-то неизвестный автор почтил меня таким четверостишием:

«Я в вас не вижу перемены:

Все тот же вы на склоне дней.

О, дай вам Бог справлять со сцены

И свой столетний юбилей».

Этим юбилеем итог моей деятельности был подведен окончательно…

Теперь в конце концов немножко своеобразной статистики. Службу свою я начал в 1839 году, в царствование императора Николая Павловича, служил при Александре Николаевиче и Александре Александровиче. При мне было четыре министра императорского двора: князь Петр Михайлович Волконский, граф Владимир Федорович Адлерберг, граф Александр Владимирович Адлерберг и граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков. Во время пребывания моего на казенной сценё было шесть директоров: Александр Михайлович Гедеонов, граф Борх, А.И. Сабуров, С.А. Гедеонов, барон Кистер и, наконец, нынешний директор Иван Александрович Всеволожский. Начальниками репертуарной части при мне были: знаменитый Александр Иванович Храповицкий, Евгений Макарович Семенов, Павел Степанович Федоров, Лукашевич и А.А. Потехин. Управляющих театральной конторой я знавал: Александра Дмитриевича Киреева, П.М. Борщова, А.Ф. Юркевича и Погожева. Режиссеров при мне сменилось шесть: Н.И. Куликов, Краюшкин, Яблочкин, Е.И. Воронов, Лепин и, наконец, Ф.А. Федоров. Вот при каком многочисленном начальстве я провел свою закулисную жизнь…

А, Алексеев.

**Примечания**

**1**

Умерший в Петербурге весною 1890г. в преклонном возрасте.

([обратно](http://lib.ololo.cc/b/193622/read#r1))

**2**

На той стороне, где Аничкин дворец, в самом углу.

([обратно](http://lib.ololo.cc/b/193622/read#r2))

**3**

Сосницкий

([обратно](http://lib.ololo.cc/b/193622/read#r3))

**4**

«Ревизор», изд. 2-е, Москва, 18S41 года.

([обратно](http://lib.ololo.cc/b/193622/read#r4))

**5**

«Европа» — гостиница на Фонтанке, у Чернышева моста.

([обратно](http://lib.ololo.cc/b/193622/read#r5))

**6**

Его настоящая фамилия была Млотковский; Молотковским же он был прозван актерствующим людом.

([обратно](http://lib.ololo.cc/b/193622/read#r6))

**7**

Плата за билет больше его стоимости.

([обратно](http://lib.ololo.cc/b/193622/read#r7))

**8**

Чистая перемена — моментальная, без антракта и на глазах публики, перемена декорации.

([обратно](http://lib.ololo.cc/b/193622/read#r8))

**9**

16-го ноября 1856г.

([обратно](http://lib.ololo.cc/b/193622/read#r9))

**10**

Михайловском.

([обратно](http://lib.ololo.cc/b/193622/read#r10))

**11**

1-го апреля 1871г. Прим. М.Ш.

([обратно](http://lib.ololo.cc/b/193622/read#r11))

**12**

  22-го апреля 1836г. Прим. М.Ш.

([обратно](http://lib.ololo.cc/b/193622/read#r12))

**13**

Оба в то время воспитанники театрального училища.

([обратно](http://lib.ololo.cc/b/193622/read#r13))

**14**

Монахов в последние годы жизни предавался разгулу и на этот раз он не был вменяем после кутежа, совершенного накануне.

([обратно](http://lib.ololo.cc/b/193622/read#r14))

**15**

Пенсия мне назначена в 1874 году, в размере 900 р. в год. Кроме того, в 1872г. мне пожалована грамота на потомственное почетное гражданство, как артисту первого разряда.